



М. _____
ВЕЛЛЕР



ЗАГОВОР
СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ

Михаил Иосифович Веллер

Заговор сионских мудрецов (сборник)

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5004009

Заговор сионских мудрецов: ООО «Издательство Астрель»; Москва;

2012

ISBN 978-5-271-41350-6

Аннотация

Вашему вниманию предлагается сборник рассказов
М. Веллера «Заговор сионских мудрецов».

Содержание

Исповедь любовника президента	4
Исповедь любовника президента	4
Заговор сионских мудрецов	24
Трибунал	39
Подполковник Ковалев	55
Узкоколейка	67
Конец ознакомительного фрагмента.	93

Михаил Веллер

Заговор сионских мудрецов (сборник)

Исповедь любовника президента

Исповедь любовника президента

«Дожили...» Вот единственная мысль – если только это банальное выражение сокрушенных эмоций можно облечь в гордое слово «мысль», – которая возникает при чтении первых же страниц этой книжицы, чтобы не покидать читателя уже до конца.

Слава богу, что издание лишено фотографий. Но и без них четыреста страниц дешевой бумаги, скрепленных скверным клеем и вышедших в некоем сомнительном Средне-Уральском Книжном Издательстве (чего стоит уже одна аббревиатура!..), стали очередным скандальным бестселлером, выделяющимся низкопробностью даже на общем фоне сегодняшней макулатуры, захлестнувшей книжные лотки.

Читатель, видимо, уже догадался, о чем речь. В наше время лишенной малейшего намека на застенчивость повальной

рекламы женских гигиенических средств и контрацептивов, когда телеэкран поощряет семейное застолье обсуждением проблем менструации, название книги кричит само за себя. Все на продажу, деньги не пахнут, грязное белье как знамя борьбы за славу и высокие гонорары.

Содержание книги, как всех подобных «произведений», крайне несложно и в принципе совершенно предсказуемо – хотя в то же время абсолютно непредсказуемо в уопомрачающих деталях, на чем и строится нехитрый коммерческий расчет автора и издателя. Президент, как вы понимаете – это не президент какой-то фирмы или банка. Элементарный такт диктует нам ограничиться вынесенной в заголовок книги должностью того, о чьем любом чихе много лет ежечасно оповещали экраны телевизоров и страницы газет. На всякий чих, как говорится, не наздравствуешься, но мимо данного чиха на все приличия пройти без внимания невозможно.

Фамилия автора – Голобоков – в Сибири достаточно распространена. Как распространено и всплывание в последние годы бывших комсомольских работников в качестве директоров разных фирм и фирмочек, фондов, банков и издательств. К тексту явно приложил руку журналист провинциальной школы. Ибо в истории советской и постсоветской литературы неизвестен ни один случай самостоятельного написания даже простейшей брошюры кадровым комсомольским деятелем – в то время как обороты типа «усталые, но довольные», «теплая рука матери», «добрые усталые глаза учитель-

ницы (майора, рабочего, директора)» ковались в областных и районных кузницах профессионалов пера.

Итак, юный пионер Саша Голобоков естественным путем эволюционирует в юного комсомольца, носящего то же имя. Он хорошо учится, занимается спортом и мечтает быть в авангарде борьбы за счастье всего трудящегося человечества. И в восемнадцать лет, еще допризывником, став после школы освобожденным инструктором райкома комсомола, делегируется на съезд ВЛКСМ в Москву. Пока ничего интересного – стандартные мемуары, которыми были в свое время забиты все историко-партийные редакции областных издательства. Видимо, автору очень дороги ностальгические детство и юность, «чистоту» и «романтичность» которых он неоднократно подчеркивает, если только в четвертой главе он переходит к тому, ради чего, собственно, и написана книга.

После торжественного открытия и первого дня действия в Кремлевском Дворце Съездов следует вечерний банкет. Мелочь вроде райкомовских инструкторов и совхозных передовиков сгруппирована в углу, вазочки с икрой там расставлены на столах пореже, а этикетки на водочных бутылках наклеены подешевле. И однако обилие и изысканность трапезы, а главное – замкнутая, кастовая избранность общества, к которому оказался причастен юноша, наполняет его сакральным чувством участника тайной вечери. Чувство это празднично дополняется тем фактом, что в гостиничном

номере каждого делегата ждет съездовский сувенир: кожаный дипломат, нейлоновая сорочка и ондатровая шапка – джентльменский набор молодежи той эпохи.

Тут-то, падла, все и начинается. Традиционным языком литературной рецензии диковатый кайф дальнейшего передать в нюансах невозможно.

Этот пир хищников, каковыми считают себя присутствующие шавки, открывается застольной речью первого секретаря ЦК комсомола товарища Грузильникова. Кто помнит, товарищ Грузильников отличался тем, что обращаясь в телевизоре к очередному кадавру Политбюро, он своеобразно оттопыривал зад. Зад у комсомольского вожака страны был какой-то немужской – круглый и выпуклый, и прогиб позвоночника над ним выражал верноподданность не идеологического, а какого-то личного и даже интимного характера. В особенной плавности прогиба являла себя не столько даже преданность слуги, но скорее признательная готовность содержанки.

Ответный тост от имени как бы юных и сравнительно простых комсомольцев произнес юный токарь из Кременчуга. И Голобоков обратил внимание, что прогиб его поясницы и положение ягодиц совершенно копирует манеры товарища Грузильникова перед вышестоящими. Образ поведения босса перенимается подчиненными, это вещь обычная и понятная.

Так же обычно и понятно было, что в ходе банкета това-

рищ Грузильников стал расхаживать между столов, обнимая за плечи делегатов и чокаясь с ними своим фужером. И вот — о судьбоносный миг! — он подошел к столику нашего героя.

Прекрасно описано тут, кто бы ни был реальный автор книги, умение номенклатурщиков при желании быть обаятельными и свойскими, снимая всякое напряжение и убирая дистанцию между собой и нижестоящим собеседником. Голобоков радостно хлопнул полный фужер, был крепко обнят и трижды поцелован вожаком, и вскоре окосел, паря в эйфории, (ударение в слове «паря» может быть поставлено на любом месте).

Товарищ Грузильников проявил дружеский интерес к его житью-бытью и после минутного разговора, похлопав по спине, продолжил свое движение по гудящему все оживленнее залу. К обласканному высоким вниманием Голобокову потянулись люди, приватные тосты учащались, и сознание нашего героя зафиксировало окончание вечера, когда рослый симпатяга секретарско-телохранительского вида покровительственно сообщил, что товарищ Грузильников приглашает его в свой узкий круг для продолжения вечера.

Машина, комсомолки с запахом дорогих духов, анекдоты — шло как в тумане, пока Голобоков не обнаружил себя в парилке, где голый же товарищ Грузильников с особенным ласковым умением охаживал его веничком. Следующий кадр сознания — комната в диванах, где женские кадры ублажают его всеми мыслимыми и немыслимыми способами под

аплодисменты небольшой толпы сенаторов в тогах, возглавляемых товарищем Грузильниковым.

Следующего кадра сознание не поняло, но даже при алкогольной анестезии было немного больно и, главное, очень непривычно и оттого неудобно. Уже много лет спустя покрылся на миг Голобоков холодным потом, слушая по вражьему голосу интервью режиссера Параджанова: «Все может простить советская власть, но полового члена в заднем проходе – никогда!»

Так Голобоков стал любовником самого лидера всесоюзной молодежи. В последующие вечера и сам Грузильников, и ребята из его окружения объяснили ему, что дело это обычное, ничего такого тут нет, и даже наоборот: эта мужская традиция идет в европейской культуре из ее колыбели, древних Афин, где у мужчин были любовники-юноши, и это только поощрялось. Сам Сократ любил Алкивиада, и любовь еще многих достойных мужей к Алкивиаду не помешала последнему стать гордостью Афин и занимать впоследствии высшие государственные должности. Сам великий Перикл рекомендовал формировать соединения гоплитов – тяжеловооруженных пехотинцев, гордости греческих армий – из любовников, потому что они будут заботиться друг о друге в походах и защищать друг друга в боях.

В вечер расставания Голобоков получил в подарок от товарища Грузильникова в подарок пишущую ручку с золотым пером «Монблан» и часы «Сейко». И впервые совершил с

ним половой акт в качестве активной стороны.

Глава восьмая представляет собой апологию гомосексуализма, хотя интонации ее – это интонации оправдывающегося человека. Здесь говорится о Леонардо да Винчи и Лоуренсе Аравийском, Уайльде и Чайковском, Рудольфе Нуриеве и Теннесси Уильямсе. О том, что язык изощренных в наслаждениях французов имеет два совершенно различных слова для обозначения мужчины, склонного любить мужчин: «пидэ», что есть синоним презрительного слова «педераст», и «омо» – что означает мужчину мужественного во всем настолько, что даже любить он может только мужчину: «омо» может быть военачальником, государственным деятелем и так далее, и это очень достойно. Апофеозом «омо» является Ричард Львиное Сердце – кстати, француз по крови. Голобоков признается, что при контактах с вышестоящими лицами воображал себя «омо», особенно когда поднимался на следующую ступеньку карьеры... но всю жизнь его сопровождали приступы депрессии, когда сознание с подсознанием плясали в обнимку и всячески обзывали его именно «пидэ», и еще испанским словом «марикон». И в эти моменты вдруг телек «В мире животных» вдруг обязательно показывал, как главный самец-мартышка трахает в зад провинившихся подчиненных второранговых самцов, утверждая свою власть, – или дешевый детектив раскрывался на том месте, где знатные воры опускают новичка, опетушая его тем же способом. Неестественным и притянутым за уши выглядит здесь

псевдофилософское рассуждение о том, что в подобных же отношениях являло себя единство партии и комсомола в свете руководящей и направляющей роли партии. Потому что завязка собственно сюжетной линии книги, завязка интриги, не имеет никакого отношения к партийно-комсомольским связям. Напротив – поводом послужил спорт, тот самый, который крепит тело и дух вне всякой зависимости с идеологией.

Сборная волейбольная команда области, где Голобоков был уже третьим секретарем обкома комсомола, выиграла первенство спартакиады республики. (Опустим неизбежные уже авторские ассоциации со Спартаком, гладиаторами и римскими нравами в свете однополого секса.) Чествование вернувшейся с победой из Москвы команды происходит на природе – неизбежный пикник с водкой и баней. О капитане команды, рослом румянном блондине, говорят как о перспективном работнике – он уже освобожденный секретарь крупного завода, хваткий, властный, умелый организатор, который и сколотил на основе костяка заводской эту команду, приведя ее к победе.

Желая поощрить капитана, Голобоков садится со стаканом в руке на травку рядом с ним, обнимает за мускулистые широкие плечи – и понимает по силе и властности, исходящим от этого совсем еще молодого человека, что роль лидера даже в этих минутных мимолетных отношениях между ними принадлежит не ему. Этот парень рожден властво-

вать и побеждать! И благодарность за поддержанную спортивную честь области, размягченность от выпитого, романтическая обстановка вечерней сибирской природы сливаются в каком-то теплом отношении к соседу.

И когда ночью, оглушенные оргазмом, они курят в темноте, с восторгом и ужасом понимает Голобоков, что это любовь: то пронзительное чувство единения, которое никогда не испытывал он с женщинами, влекущими его все меньше, и то острое счастье наслаждения, неведомое прежде с вялыми и рано ожиревшими кабинетными вожаками.

«Ты необыкновенный, – говорит ему новый друг. – Ты не такой, как все. Теперь мы должны быть вместе». И обнявшись, они поют – и соловьи вторят им над ночной тихой рекой: «И так же, как в жизни каждый, любовь ты встретишь однажды! С тобою, как ты отважно, сквозь бури и он пойдет!...» Крепкое плечистое тело мужчины и звезд ночной полет.

Эта фраза заключает главу, и она же, с известной литературной изысканностью, вынесена в заголовок второй части: «Звезд ночной полет». Хотя встречи возлюбленных обычно происходили днем, чаще в безликих служебных кабинетах, на скользких кожаных диванах и угластых столах для заседаний.

У друга есть жена и дети. Он много работает, спит по пять часов в сутки. Но иногда случаются рыбалки в субботу, дальние командировки в районы с долгими вечерами в номере за-

холустной гостинички. Медленно, немногословно раскрывается друг перед Голобоковым: как раскрыл ему глаза на мужскую любовь массажист юношеской сборной города по волейболу, как умело возбуждал, разминая и массируя мышцы. А от тренера впервые услышал он в оригинале поэму Горького «Юноша и смерть».

И Голобоков понимает, что отдаст жизнь за этого человека. Но что он может реально для него сделать? И он решает отдать всего себя, чтобы сделать ему карьеру. Карьеру большую, великую. Все его знания, все связи, все понимание жизни и умение работать с людьми находят, наконец, достойную цель, абсолютное применение.

С удивлением узнает читатель, как много зависело в партийной иерархии от личных симпатий, от личных связей. Когда с любовницей расплачивались поездкой во Францию или должностью завмага – это было обычно и достаточно явно. Но когда вдруг ничего из себя не представляющий мужчина стремительно восходил по партийной лестнице – где решительно отсутствовали объективные критерии общественных заслуг, ибо вся конкретная деятельность и вся ответственность лежала на хозяйственных администраторах, – это чаще всего вызывало непонимание непосвященных. Трудящиеся массы понятия не имели, чем вызвано выдвижение того или иного активиста. Никто, разумеется, не принимал всерьез поразительно пустые общие фразы о «трудовом пути» того или иного босса. Чем они там занимались за своими вы-

сокими заборами?..

Но то, что в молодости почти все они были симпатичны, что много среди них было мужчин рослых и сильных, распространяющих вокруг себя атмосферу мужского обаяния и мужской силы, — отмечал каждый, кто приближался к номенклатурному миру. (Посмотрите на нынешних партийных уродов... Разве это реальные кандидаты в правители?)

Кумир Голобокова был требователен и нетерпим. «Я не собираюсь делить тебя ни с кем», — жестко заявил он. На этом кончилась карьера нашего героя, на этом кончилась его семейная жизнь. Он был вынужден развестись. Он ушел с комсомольской работы. И стал верной тенью своего друга, слугой, оруженосцем, наперсником. Как змей-обольститель подводил он к боссу нужных людей, готовил их, привозил. Порой в нем вспыхивала ревность, но он усилием воли гасил ее вспышки. Он рассматривал свою деятельность как служение любви и одновременно служение родине — потому что был свято убежден в великой миссии избранника, великой роли, предуготованной ему историей страны.

А кумир бывал необуздан. Чего стоит одна история со сносом Лопатьевского дома, где был в девятнадцатом году расстрелян кем надо Великий князь финляндский и прочая! Молодой секретарь одного из райкомов комсомола, приближенный и обласканный, отказался сбривать бородку, а растительность на лице не поощрялась в то время среди номенклатуры. Мягко объяснил ему Голобоков, что борода мешает

полностью отдаваться некоторым ощущениям, и прикосновение жесткой мужской щетины бывает в некоторых случаях роковым. Тщетно!.. Так мало того, что на бородача навесили обвинения в развале всего, что можно было развалить, – в ярости искоренил босс все, что могло напомнить о непокорном гетеросексуале, который удивительно походил на Великого князя. «Саму память о тебе смету с лица земли!» – бросил он угрозу – и смел не только дачку бедолаги, но и старинный купеческий дом, легко замотивировав это политическими причинами. (Голобоков глубоко обосновывает невозможность для некоторых мужчин орального секса с бородатыми партнерами искажением сенсорных связей, ведущим к нарушению стереотипа возбуждения.) Точно так же становится понятным уничтожение Сталиным, никогда не носившим бороды, всей элиты революционеров: вспомним, практически все первое Политбюро состояло из мужчин бородатых. И только с этой точки зрения делается понятным бритье Петром Первым бород боярам – и уничтожение стрелцов, не пожелавших бриться. Грозное с тех пор приглашение: «Пожалуйста бриться!» проясняет теперь свой смысл.

И вот он стал Хозяином огромной области. Причем порядок в области был наведен жестокий. Любой ответственный работник знал, чем закончится разнос за неуспешное выполнение приказа. Бытовавшие среди руководства выражения «Вызвать на ковер» и «вставить фитиль» (иногда говорили «заправить фитиль») не нуждаются в дополнительной рас-

шифровке. Иногда говорили образнее: «Поставить раком», или уж вовсе с римской прямотой: «Вые...ь».

Но постоянным и любимым оставался он, верный Саша Голобоков. Любовники могли меняться – иногда это была просто производственная необходимость. Но сердечная привязанность была одна.

В лирическом отступлении в третьей главе второй части автор с безыскусной силой подлинного чувства вдруг поднимается до высот, доступных ранее в веках лишь Сапфо. С выразительностью буквально библейской плачет он о загубленной карьере, прозябающей в нищете семье, ибо ничто они по сравнению со счастьем быть нужным любимому. Хотя, возможно, текстовой анализ может выявить здесь инородную вставку литобработчика, влюбленного в произведения Андре Жида и Марселя Пруста.

Но вот, обвыкнувшись в этом мире своих отношений и страстей, мы переходим к эпохе перестройки. Своеобразным прологом к третьей части служит экскурс в «Золотую ветвь» Фрэзера: читателю напоминают, что вождь племени сохраняет свое место лишь до тех пор, пока он способен явить свою не только общефизическую, но и сексуальную состоятельность и мощь – при появлении же признаков старения специально отряженная контрольная комиссия из жрецов и знатных воинов устраивала вождю ритуальное испытание: как может он покрыть всех своих жен, полагающихся ему соответственно высокому статусу. И если вождь успешно удо-

влетворял всех жен – его правление продляли на установленный законом срок. Если же жены были добросовестно не оттраханы – вождя убивали и съедали, на заполнение же вакансии устраивали выборы следующего.

Роль главного советского контрольного органа традиционно исполнял КГБ. Председатель КГБ тов. Андропов негласно-официально констатировал то, что было в общем явно всему племени (в смысле народу): престарелые члены Политбюро не отвечают своему изначальному смыслу и наименованию, членами могут именоваться лишь в сугубо лингвистическом смысле, не будучи в мужских силах удовлетворить даже воспитательницу детского сада. Памятное всем по бесчисленным газетным отчетам «чувство глубокого удовлетворения» носило отчетливый характер сакрально-го заклинания, когда формула ритуала была призвана заместить суть действия. Пущенное позднее в оборот определение «застой» было стыдливо-лицемерным эвфемизмом слова «залег». Итак, на смену протухшей плоти одряхлевших вождей был призван человек молодой, не только всегда гладко выбритый, но для усиления эффекта и вовсе лысый.

Естественно и закономерно, что новый вождь взошел на престол через то место, где отдыхали и развлекались вожди прежние. То-есть не один год он проходил испытание, давая верховным комиссиям возможность убедиться в своих способностях.

Но СССР – это вам не полинезийское племя, и даже са-

мый могучий канак (в тексте опечатка: «кунак») не мог бы здесь справиться в одиночку. Началась ротация партийных и руководящих кадров (членов).

Итак, голобоковского кумира переводят на резкое повышение в Москву. Кумир еще нестар и отличается мощью, и перетаскивает за собой в Москву нескольких самых близких партнеров из области, которым построил приличные карьеры.

И вот здесь сцены ревности, интриг, борьбы за любовь и внимание любимых разворачиваются в полную мощь с поистине шекспировской силой. К сожалению, полное отсутствие шекспировского таланта превращает собственно текст в нечто среднее между сортировкой белья и доносом в полицию нравов.

Сам Голобоков сразу оказывается на третьих ролях: так выстарившаяся верная жена в султанском гареме с ревливой гордостью заботится устройством любовных дел повелителя, лично отбирая кандидатов и консультируя насчет проведения достойных в фаворитки, переживая любовные сложности хозяина болезненнее его самого.

Связь голобоковского кумира с руководителем правительства послужила истинной причиной его опалы и отставки. Тягостен вечер их объяснения, когда предсовмина объясняет, что генсек ревнует его, и это может иметь самые тяжелые последствия. Вот тогда впервые в жизни напивается до беспамятства будущий президент, и «с досады», как говорят

французы, отдается начальнику своей охраны. Последствия пьяного контакта, как часто случается в жизни, будут иметь далеко идущие последствия для обоих...

Дело в том, что отличающийся гипертрофированными мужскими чертами президент не терпел для себя пассивной роли ни в каких отношениях. В области он был полновластный хозяин, вызовы же в Москву были редки, причем отношения с бессильными союзными старцами сводились к символическим актам признания их главенства. Таковы были условия игры. Общение со старцами никак не могло уронить мужской авторитет будущего президента, как первую даму двора не может уронить номинальное сожителство со знатным старцем, данным ей в мужа и обходящимся собственной спальней. Но молодой генсек был активен и potentен, и после каждого совещания в Кремле будущий президент искал дома забвения в алкоголе, крушил мебель и кричал, что мог бы отдаться победителю на поле боя, ибо таков мужской закон и здесь нет унижения, но если всякий тракторист и спиномой!.. и, чтобы как-то ослабить комплекс, призывал своего массивного мордоворота-охранника.

Развязка наступила во время оперы «Кармен» в Большом театре. Когда Хозе вытащил нож, сидевший в правительственной ложе будущий президент покрыл своим яростным басом сладкое бельканто певца, заорав в лицо сидевшему рядом генсеку: «Теперь ты понял, понимаешь, чем это пахнет?!»

Той же ночью в бане он был упоен в хлам, и через него пропустили шестерых высших приближенных генсека. Наутро генсек позвонил ему, разбитому и страдающему не только от похмелья, и холодным металлическим голосом задал один вопрос: «Теперь ты понял, что партия выше тебя?» Вслед за чем, приехав на службу, несчастный узнал, что, как делается с опущенными, его выкинули с работы – заодно с его охранником, утешительная связь с которым давно не была секретом для органов.

Подробно описывает Голобоков депрессию кумира. Его попытку публичного покаяния на съезде, которая была глумливо отклонена. Его пьянство, попытку выброситься из самолета и столь же неудачную попытку утопиться.

Зато для самого Голобокова словно вернулся медовый месяц. Они были близки почти ежедневно. Он получил двухкомнатную квартиру в Крылатском, получил в подарок «Волгу», они вместе летали отдыхать в Испанию.

И именно Голобоков, по его утверждению, обеспечил победу демократии в дни августовского путча. Поначалу в Москве, в дни державной милости, его расположения заискивали многие: приглашения на дачи в Жуковку, на охоту, золотые часы и галстуки от Диора сыпались на него дождем. Но верность его была искренней – а кроме того, он понимал, что поддаться соблазну означает поставить крест на своем будущем. Шлюхами везде пользуются, но нигде не ценят; коридоры власти ничем не отличаются в этом смысле от буду-

аров борделей.

Портреты и характеристики верхушки советских правителей последнего периода представляют бесспорный интерес для будущих исследователей. Любовь толстяка-маршала к рыбной ловле на блесну, во время которой он приказывал отключать всяческую связь, чтоб «отдых был полноценным» (тут-то и сел на Красной площади самолетик Руста – потому что получить указание Министра обороны было невозможно: он выдергивал тайменя из Селенги, пытаясь обольстить Голобокова своим удальством). Virtuозное искусство бывшего комсомольского вождя выстукивать оперные мелодии на зубариках. Хозяин же Лубянки приглашал Голобокова принять участие в расстрелах (традиция первых лет советской власти тайно вспыхнула уже под самый закат ее, как часто случается) – предлагая попробовать, насколько это обостряет вкус к жизни и возбуждает чувственность ни с чем не сравнимым образом. (Вспомним римских матрон, приходивших с секс-рабами на бои гладиаторов.)

Последний усердствовал в соблазнении Голобокова более всех, и в конце концов Голобоков описывает, как по приказу хозяина, ставшего уже президентом республики, он в качестве разведывательного задания идет на половую связь. Риск и труд оправдались с лихвой: босс спецслужб по пьяному делу намекает, что скоро он, во главе «великолепной семерки» станет во главе государства, и тогда любовник не пожалеет. В тот же день, разумеется, Голобоков рассказывает обо всем

хозяину – и вместе они разрабатывают план, как воспользоваться будущим переворотом.

«Через тебя они хотят подобраться ко мне, – усмехнулся хозяин, – ну а мы вместо этого подберемся к ним. Понял меня, Саша?» Голобоков вспоминает, что эта готовность пожертвовать им ради достижения политических целей, и в особенности эта оскорбительная обнаженность выражения «через тебя» наполнили его горечью и предчувствием близящегося конца их отношений.

И конец этот действительно наступил осенью того же года, когда президент приблизил к себе и ввел в правительство сразу целую команду молодых, свежих, упитанных и мускулистых мужчин. Час пробил... Взлет и падение новых фаворитов проходили уже вдали от Голобокова, зажившего частной и скучноватой жизнью.

Книга потерялась бы в мутном потоке нынешних мемуаров, будучи стилистически вполне безликой и наполненной стремлением всячески преувеличить свою скромную роль в истории. Но нельзя отказать ей в странном магнетизме, сродни притягательности зловония. В грязи политической кухни нет ничего нового, но взглянув раз на вещи под предложенным нам углом зрения, уже трудно отрешиться от него: отравы входит внутрь и проявляется в самые неожиданные моменты наблюдения происходящих политических пертурбаций в попытках понять и объяснить тайные механизмы событий и отношений.

Строго говоря, у нас есть все основания считать ее грязным пасквилем. Но. Но. С прекращением преследования людей лишь за проявления нетрадиционной сексуальной ориентации она не содержит никаких элементов обвинения кого бы то ни было ни в чем противозаконном. И еще одна вещь не позволит, видимо, привлечь автора к ответственности – если это пришло бы кому-нибудь в голову. В девяносто втором году, после всех передраг, он угодил в больницу Скворцова-Степанова с тяжелым психическим расстройством. Понадобится экспертиза, чтобы установить, насколько все вышеизложенное является плодом больного воображения шизофреника, а насколько – злым умыслом обиженного человека.

Мы же можем лишь решительно не рекомендовать ее к изучению в общих средних и высших учебных заведениях – хотя, возможно, имеет смысл включить ее в список рекомендованной литературы как для академии дипломатии, так и для разведывательных школ.

Огромный тираж свидетельствует, что потенциальных дипломатов и разведчиков у нас имеется несметное множество – что говорит о грандиозном, хотя и ловко скрывающемся в последние годы, потенциале населения страны.

Заговор сионских мудрецов

Не знаю, знакомо ли вам это странное ощущение, оцепеняющее однажды ужасом, когда смотришь в зеркало и вдруг понимаешь, что видишь там еврея.

Поздно. Безнадежно поздно. Уже ничего нельзя сделать.

Перестает действовать утешительный самообман мифов о «засилье малого народа» или «господстве мирового еврейского капитала». Все гораздо безнадежнее; пронзительная непоправимость.

Дело не в том, что у них деньги. Деньги у всех. Дело в том, что деньги – уже суть еврейство. Желтое золото дьявола, более трех тысяч лет назад пройдя через их цепкие торговые руки и обретя форму денег, растлило и повязало мир. Если в изобретениях проявляется и воплощается характер нации, то в изобретении денег дьявольский характер еврейства проявился сполна. Бокастые финикийские корабли из желтого кедра ливанского разнесли эту пагубу, изготовленную по семитскому рецепту, по вольным просторам Средиземноморья. И вот уже тысячелетия все люди повязаны меж собою еврейскими – денежными – отношениями: теми отношениями, которые евреи в древности скомбинировали и построили для своих должников, тех, кому с коварной услужливостью и ненасытной хваткой сбывали товары с выгодой для себя. И невозможен, немислим уже возврат к наиву меновой тор-

говли, честной и простой... А были! – быки, овцы, мечи и соль; а если и золото и серебро – то просто на вес, а не деньги. Существовая и функционируя в структуре денежных отношений, мы уже тем самым живем в еврейском морально-интеллектуальном пространстве и по еврейским правилам, так ловко навязанным нам когда-то. Мы послушно подчинились и стали поступать как они; подменяя их – им уподобились. Победа еврея не в том, что его банк могущественнее, а в том, что вообще существуют банки: ибо это изначально их мир, созданный ими согласно их натуре. Звон денег – еврейский гимн, и каждый поющий его – поет осанну им и сам становится одним из них.

А для этого они с непостижимым умением внушили всем свой способ передачи мыслей. Буквенное письмо – это их еврейское изобретение. Алфавит – это «алеф-бет». Коварные, напористые и жадные финикийские купцы, семитские спекулянты, высасывающие деньги со всего Средиземноморья – это они придумали буквенные записи, подтверждавшие их сделки и прибыль.

«Алеф» – это еврейский «бык». «Бет» – это еврейский «дом». Дом еврейского золотого тельца – вот чем стал наш мир. Вот что кроется за трагедией преемственности греческой «альфа» – началом всего сущего нам.

Ибо, изобретя прежде деньги, они поняли, что только этого – мало. Дьявол, через них уловивший в эту сеть все человечество, не удовлетворился властью над земным добром и

бренным телом. Души нужны были ему.

И народы, более прямые и простодушные, менее искушенные в искусстве спекуляции и наживы, купились на мнимое удобство алфавитного письма. Арийские руны и египетские иероглифы канули в небытие. Уже никто не прочтет памятников великой и древней эт-русской цивилизации. А ведь средство выражения и передачи мыслей неизбежно накладывает отпечаток на сами эти мысли и их восприятие. Форма передачи сообщения уже есть сама по себе сообщение.

Античные эллины, сильные и храбрые дети природы, владели некогда всем Средиземноморьем. Ни персидские орды, ни ножи Маккавеев не могли сокрушить их мощь, не могли исказить их гармонию. Но соблазненные пурпурными тканями, кедровым деревом и аравийским золотом семитских купцов, в общении с ними они невольно испытывали неосязаемое и тлетворное, как микробы проказы, семитское влияние. Заключая сделки и подписывая кабальные купчие договора, они научились разбирать еврейское письмо, а потом — кто знает, ценой каких подкупов и лстивых посулов? — и сами переняли эту манеру буквенных записей. И вот уже забыта древняя ахейская грамота, и еврейский алфавит лег в основу древнегреческого...

Великий Гомер не знал этих ухищрений. Символично и не случайно, что он ослеп раньше, чем его грандиозные поэмы, эпосы, легшие в основание всей европейской литературы, были записаны алфавитным письмом, изобретенным

евреями для удобства торговых сделок и опутывания всего мира своей ростовщической идеологией.

Вдумаемся, сколько исторического сарказма, сколько глумления над святынями заключено в том факте, что величайшие достижения человеческого духа сохранились в тысячелетиях и передавались поколениями исключительно еврейским способом, алфавитным письмом! И невозможно уже вычленить чистую суть поэзии и мысли великих народов из той еврейской по сути формы, в которой они существуют.

Великий Рим, потрясатель и владетель Ойкумены, обоглаженный эллинской культурой, перенял греческий – от-еврейский – алфавит. И этим алфавитом писались законы народов и цивилизаций. И Юстинианов кодекс лег в основу правовых уложений всех стран современности. Непреодолимый парадокс в том, что ненавидевшие евреев народы стали писать так, как писали евреи: и отпечаток еврейской формы выражения мысли лег на все развитие мысли мировой. О боги, древние и бессильные боги мои!..

«В начале было Слово, – записали мудрецы древнего Сиона, – и Слово было Бог». И по мере того, как перенималось это слово, еврейский бог становился богом всего мира.

Наследники великих, изначальных человеческих цивилизаций Египта и Вавилонии инстинктивно ощущали смертельную опасность, исходящую от незначительного и малочисленного полукочевого народа, обосновавшегося на пустынных взгорьях Палестины. Но, привыкшие брать силой

и явными достижениями культуры, они проиграли судьбоносное соревнование в живучести, приспособляемости и коварстве. Кир отпустил евреев из вавилонского плена и позволил восстановить Иерусалимский храм; Александр сокрушил тысячелетний Египет Сынов Солнца, фараонов.

И не ведали, что творили, суровые римляне, сокрушая спесивую Иудею и сметая навечно с лица земли еврейский храм. Так наивный и измученный болью человек давит гнойную флегмону, и зараза разносится по всему организму. Ибо еврейское рассеяние по миру можно справедливо считать инфицированием человечества.

Ибо к тому времени, отравив мир своим способом выражения Слова, и тем самым преодолев иммунитет человечества к своему влиянию – этот своеобразный и всемирный СПИД древности, – евреи уже создали своего бога «для внешнего употребления»: еврейского бога для всех неевреев.

Когда ты раскрываешь Библию илиходишь в христианский храм – задумайся же, что ты читаешь и кому ты молишься; несчастный ты человек.

Еврейкой был рожден Иисус, и обрезана была его крайняя плоть на восьмой день по еврейскому закону, и гражданином был он еврейского государства. Евреи воспитывали его, и еврея называл он своим земным отцом. Еврей крестил его, и евреям он проповедовал. Евреями были святые апостолы, и еврей Петр заложил первый всемирный христианский храм.

И еврейскими именами стали называть с тех пор люди детей своих. Иоанн и Мария – еврейские имена это.

И был рожден этот «бог для всех», бог для всеобщего пользования – от бога собственно и только еврейского, бога для пользования внутреннего. И ведь говорят вам, говорят толкователи, что Бог-Создатель, Отец, и Бог-Сын – две ипостаси одного и того же, и, стало быть, молясь Иисусу, вы тем самым молитесь и другой Его ипостаси, Яхве! – но не хотят задумываться над этим наивные и жаждущие веры люди.

Несколько веков сопротивлялся Рим иудейской заразе в христианском облиции. И таково неодолимое коварство этой заразы, что римляне, верные богам своих предков, преследовали и травили римлян же, все более охватываемых верой в бога еврейского производства. Верой в бога смирения, покровительствующего в первую очередь рабам и беднякам, убогим и сирым. Нищих духом и плачущих объявил он блаженными, и велел подставлять обидчику щеку для удара.

А для себя оставили евреи законы своего бога: око за око и зуб за зуб.

Евреи пропагандируют легенды о своих страданиях, причиненных христианами. Но попробуйте сравнить: сколько христиан истребили друг друга во имя бога, данного им евреями? Сколько детей погибло лишь во время Крестовых походов детей? Сколько миллионов «протестантов» приняло мученическую смерть от «католиков»? а ведь они исповедовали веру в одного и того же бога! Весь цвет европей-

ского рыцарства сложил головы под лозунгами веры в Иисуса и Марию!.. Вчетверо сократилось население несчастной Германии за сто лет гражданских войн «реформации» христианской веры.

Чего ради миллионы европейцев веками гибли под мечами мусульман, покинув свои очаги и семьи для вящего торжества дела Иисуса, сына еврейки и еврея самого?

А вы повторяете об экономическом засилье евреев... Это мелочь, следствие, верхушка айсберга. (Айс-берг... «Ледяной камень». Вот – их сердце.)

И смертоносная мудрость древнего и страшного иудейского племени сказала даже и прежде всего, быть может, в том, что они всегда были готовы обрести власть над миром и остальными народами даже ценой собственных страданий и ненависти к себе. Чтобы вера была крепкой и победоносной, объединяющей народ, – народу необходим постоянный враг, враг внутренний, который всегда рядом, инородный элемент в собственном теле. В противопоставлении себя чужаку рождается нация как единое целое.

И ненавидя евреев – народы ненавидят их во имя еврейской веры, молясь еврейскому богу, имя которого записано еврейскими буквами. Таков был сакраментальный тысячетный расчет.

Почему за две тысячи лет евреи не растворились в многочисленных и сильных народах, среди которых жили? Потому что народы эти исповедовали веру, исторгнутую евре-

ями из своего лона для внешнего применения. И рассчитанно вызванная ненависть скрепляла еврейский народ в нерасторжимое и крепкое целое – так давление в сотни атмосфер превращает мягкий графит в искусственный алмаз.

Обостренный инстинкт самосохранения научил евреев, как сохранить свой народ. Говорят, что они интеллектуальны и изобретательны. И плоды их изобретений сделали сегодня христиан болезненными и слабыми, естественный отбор прекратился, все снижается рождаемость, все реже встречаются сильные и красивые люди. А естественный отбор среди евреев не прекращался никогда – ибо неприязнь и гонения со стороны окружающих народов заставляли евреев изворачиваться, напрягать все жизненные и умственные силы для выживания, и выживали только самые стойкие, гибкие и умные.

И когда ты обрушиваешь гонения на евреев – ты уподобляешься стае волков, которые уничтожают больных и слабых, а ускользнувшие от клыков вскоре размножаются и делаются только здоровее. Три с половиной тысячи лет уничтожали люди евреев – и вот евреи живы, и процветают, и многие из них наверху. И народы поклоняются их богу и их святым, и пишут свои истории их алфавитом.

Так можно ли было всерьез рассчитывать на уничтожение евреев, если мир продолжал держаться на трех главных элементах еврейства: деньгах, буквах и боге? Именно эти элементы, ввевшиеся в плоть и кровь европейцев, и более того

– ставшие солью их, сутью их, и не могли позволить им довести дело до конца: но лишь устраивать регулярные погромы, оздоравливая тем еврейскую нацию себе на горе.

Смешно и глупо полагать, что еврейское владычество в России началось тогда, когда евреи пришли в Киев или в Хазарию. Где та Хазария? И что ныне тот Киев?.. И где те евреи после погромов и поголовного, как свидетельствуют летописи, изгнания славянами прочь со своих земель?

О нет... Когда пришли на Русь со своей заемной грамотой Кирилл и Мефодий – пришло на Русь еврейское Слово, записанное еврейским алфавитом. Ушли в небытие древние письмена предков, и ушло с ними что-то неуловимое из духа народного, что выражало себя в записи для потомков изречений дел и мыслей своих. Унифицированная еврейская форма простерла свое перепончатое крыло на русскую историю и культуру. «Вхождение в семью цивилизованных народов Европы» по сути было присоединением объевреенного русского народа к объевреенной ранее Европе.

Когда Ольга крестилась в Византии – началось владычество еврейского духа и еврейской мысли на Руси. И не ведал Владимир, что творил, когда крестил народ русский – подобно тому, как в далеком палестинском Иордане крестил еврей Иоанн еврея Иисуса, сына еврейки Марии. И вместо древних славянских богов предков стали поклоняться русские изображениям евреев, которые были объявлены святыми и подлежащими поклонению – но только для неевреев.

Это ли не глумление над миром? «На тебе, Боже, что нам не гоже».

И веками талантливейшие из европейских художников писали гениальные картины, изображая на них евреев из древней еврейской мифологии. И отцы в кругу семьи читали по вечерам историю еврейского народа, написанную евреями. И строили прекрасные храмы, посвященные богу, изготовленному евреями for use outside only, и поверяли ему в молитвах свои заветные чаяния.

И умнейшие и образованнейшие из людей, философы и богословы, писали книги, посвященные еврейскому богу и проникнутые еврейским миропониманием. Ибо ведь Библия написана евреями, и идет от евреев все, что идет от нее.

Вот в чем состоит истинное владычество евреев над миром. Это владычество над душами людей, а не над жалким и бранным их скарбом. И вот как исполнилось воочию обещание Яхве, изложенное в Библии: «Избраны вы из всех народов, и дарую я власть над всеми народами избранному народу моему».

И когда несчастный русский человек декларирует любовь исключительно ко всему русскому, сберегая как святыню еврейскую Книгу и молится в храме изображениям евреев; и пишет статьи об освобождении от еврейского засилья придуманным евреями алфавитом, – он не сознает, что уже поздно, уже давно свершилось в веках, и делает он то, что было предначертано мудрецами Сиона тысячи лет назад.

Теперь уже можно уничтожить всех евреев – это ничего не изменит. Ибо даже если на земле не останется ни одного еврея – дух, за тысячелетия вложенный в народы еврейскими, все равно пребудет: ибо народы в безысходной наивности своей полагают, что это суть их собственный национальный дух. Христианство стало их собственной культурой, все записи алфавитом стали их собственной культурой, и другой культуры у них давно нет.

И страшная догадка рождает прозрение, которое невозможно избыть и с которым выше сил человеческих смириться: да! – неоднократно уже в истории евреи бывали поголовно уничтожены, – да и не могло быть иначе при таком-то тщании, при таком-то соотношении сил; да элементарный здравый смысл, элементарный арифметический подсчет свидетельствуют неопровержимо, что подлинные евреи, первоначальные евреи были поголовно уничтожены давным-давно, еще в древности.

Каждый, кто бывал в Израиле в новые времена, поражался: среди евреев там и близко нет одного или даже господствующего этнического типа. Сами они так друг друга и определяют: «эфиопы», «марокканцы», «румыны», «немцы», «русские», «аргентинцы». Черные и белые, смуглые и веснушчатые, рыжие и вороные, курчавые и прямоволосые. Где горбатые и жирные еврейские носы? Вот облупленная рязанская картошка, вот тонкий англосаксонский крючок, вот медальный римский профиль, вот вывернутые ноздри

негроида... и это – евреи? Не смешите; имеющий очи да отверзнет их.

Секрет бессмертия евреев – в той квинтэссенции своего существа, которую они впрыснули в человечество. Деньги, буквы, бог. И когда все они бывали в очередной раз уничтожены – в освободившейся этнической атмосфере эта квинтэссенция отчетливее проявлялась в генетически лабильных особях, вновь создавая евреев из вчерашних германцев, кельтов и славян. Лишенные родовой памяти манкурты, они переставали иметь в сознании свою тысячелетнюю национальную сущность – и, искренне полагая себя евреями, становились таковыми сами перед собой и перед теми народами, из лона которых были рождены.

Так несчастная мухоловка, трудолюбивая и беззащитная, насиживает подброшенные ей в гнездо яйца кукушки, прожорливые и коварные птенцы которой выбрасывают из гнезда ее собственных детей. Так паразит хищный, осаноездник, откладывает яйца в мощное тело другого живого существа – и несчастная куколка уже никогда не превратится в бабочку, но превратится в выводок ос, служа им укрытием и пищей!..

Все сегодняшние евреи – это дети вчерашних наших предков: они рождены были стать нашими братьями, но дьявольское наущение сделало их под оболочкой людей вампирами, нежитью. И истина эта наполняет безнадежностью...

Ненависть народов к евреям – это акт бессильного отчаяния сменить свой пройденный исторический путь и самих

себя на других – каких? иных; лучших; свободных; счастливых и всемогущих.

Отказаться от христианства? Принять поголовно ислам или буддизм? Это уже будут другие народы, с другой ментальностью, с другими верованиями. Но как отказаться вообще от единобожия, которое есть еврейское изобретение? Ведь даже ислам – постиудейская религия! даже Магомет сначала пытался явить себя еврейским пророком и занять достойное место в еврейской общине, пока не был высмеян спесивыми еврейскими богословами (на их собственное горе).

Но как отказаться от алфавитного письма, этого дьявольского изобретения евреев, ибо только многомудрый Змей-искуситель мог вложить в умы людей такое орудие познания! Ведь обрушатся наши история и культура, и погребут под обломками невинные народы!

Есть только один радикальный способ покончить с этой заразой, этой раковой опухолью человечества. Этот достойный античных героев путь – сурово и мужественно взглянуть в лицо правде и покончить с собой. И с собою навсегда унести в могилу эту проказу, спасая тем самым чистоту грядущих рас и будущее человечество.

Но страшное опасение останавливает бестрепетно разящую руку. Ведь тем самым исполнится тысячелетняя мечта евреев: уничтожить всех своих врагов! И разящий меч вложить нам в собственные руки, чтобы своими руками порази-

ли мы всех врагов племени иудейского.

Уже и Азия и Африка давно заражены ими. Уже пигмеи из экваториальных джунглей обучены арийскими (!) миссионерами буквенному письму, денежному обращению и единому еврейскому богу.

Еще Киплинг писал: «Вокруг всей планеты – с петлею, чтоб мир захлестнуть, вокруг всей планеты – с узлами, чтоб мир затянуть! – Здоровье туземца – наш тост!» Кого имел в виду великий поэт под «туземцем»? Это даже не нуждается в специальном разъяснении... Конечно его – туземца везде, представителя «малого народа», «инородца», выходца с «той земли» (о-«бет»-ованной). И с восторгом арийские завоеватели читали и печатали эти стихи – не ведая, кого славят и чьей воле служат, отправляя лучших сыновей на тяжкий труд за тысячу морей. Строго говоря, жизнь оставляет нам два выхода. Или ножом по крайней плоти, или ножом по горлу. Или пусть в мире будет одним явным евреем больше – и тогда я, по крайней мере, буду пытаться извлечь личную и шкурную еврейскую выгоду из своего положения, – или пусть в мире станет хоть одним тайным евреем меньше, а главное – лично я навсегда избавлюсь от этого нечеловеческого, непереносимого племени, бороться с которым иначе, как показала вся история, просто невозможно.

Я специально купил наилучший, вечный, золингенской стали нож. И этот Золинген тоже был еврей!..

И будучи такими, какими нас сделали евреи, мы шлем им

свои праведные и бессильные проклятия.

Трибунал

Бриллиантовая Звезда «Победы» впивалась Жукову в зоб.

Он отогнул обшлаг, хмуро оценил массивные швейцарские часы и перевел прицел на часового. Часовой дрогнул, как вздетый на кол, отражение зала метнулось в его глазах, плоских и металлических подобно зеркальцу дантиста. Высокая дворцовая дверь, белое с золотом, беззвучно разъехала.

Конвоир отпечатал шаг. За ним, с вольной выправкой, но рефлекторно попадая в ногу, следовал невысокий, худощавый, рано лысеющий полковник. Второй конвоир замыкал шествие.

Они остановились на светлом паркетном ромбе с коричневыми узорами в центре зала, против стола, закинутого зеленым сукном. Конвоиры застыли по сторонам.

Жуков смотрел сквозь них секунду. Секунда протянулась долгая и тяжелая, как железная балка, сминающая плечи. И шевельнул углом рта.

– Почему в знаках различия? – негромко спросил он.

Под бессмысленными масками конвоиров рябью дунула тревога, внутренняя суета, паника. Правый, в сержантских лычках, с треском ободрал плечи полковничьего мундира и швырнул; на полу тускло блеснуло.

– Решения суда еще не было, – выговорил подсудимый.

– Молчать, – так же негромко и равнодушно оборвал Жуков. – Суд – ну?

Сидевший справа от него гулко покашлял, завел дужки очков за большие уши, из которых торчали седые старческие пучки, и хрустнул бумагой:

«Нарушив воинскую присягу и служебный долг, – стал он зачитывать, по-волжски окая, – вступил в антигосударственный заговор с целью свержения законной власти, убийства членов высшего руководства страны и смены существующего строя. Обманом вовлек в заговор вверенный ему полк, который должен был составить основную вооруженную силу заговорщиков...»

Прокуренные моржовые усы лезли ему в рот и нарушали дикцию. Жуков покосился неприязненно.

– Мог бы подстричь, – буркнул он.

– А?

– Хватит. Чего неясного. Полковник, твою мать, к тебе один вопрос: чего сам не шлепнулся?

– Виноват, – после паузы просипел полковник: голос изменил ему, иронии не получилось.

– Струсил? На что рассчитывал? Расстрел? Плац, барабан, последнее слово? С-сука. Повешу, как собаку! Приговор.

Сидевший слева, потея, корябал пером лист. Он утер лоб, пошевелил губами, встал и поправил ремни, перекрещивающие длинную шерстяную гимнастерку. Широкоплечий и

длиннорукий, он оказался несоразмерно низок.

«Согласно статей Воинского Устава двадцать три пункты один, два, четыре, семь, Уголовного Кодекса пятьдесят восемь пункты один, три, восемь, девять, десять, за измену Родине, выразившую... яся... в организации вооруженного заговора в рядах вооруженных сил с целью убийства высшего руководства страны... единогласно приговорил: к высшей мере наказания – смертной казни с конфискацией имущества. Ввиду особой тяжести и особого цинизма преступления... могущих последствий... через повешение».

– Следующий, – бросил Жуков.

Полковник сухим ртом изобразил плевок под ноги. Залысины его сделались серыми. Он повернулся налево кругом, сохранил равновесие и – спина прямая, плечи развернуты – меж конвоя покинул зал.

Жуков размял папиросу и закурил.

– Кто его на полковника представлял? Расстрелять.

Двое заседателей также щелкнули портсигарами. Левый, маршал в ремнях, предупредительно развел ладонью свои пышные усы, которые, в отличие от штатского, имел смоляные и ухоженные, и с грубоватой деловитостью, которая по отношению к старшим есть форма угодливости старых рубак, спросил:

– А с полком как будем?

– Старших офицеров – расстрелять. Остальных – в штрафбат.

– Так точно.

Правый член тройки кивнул серебряным ежиком, обсыпал пеплом серый мятый костюм и снова закашлялся.

– Если враг не сдается – его уничтожают, – отдышавшись, проперхал он. – Если сдается – тем более уничтожают.

Низкое зимнее солнце горизонтальным лезвием прорубило тучи. Подвески люстры выбросили снопы цветных искр. Зайчики вразбивку высветили роспись плафона. Обнаженная дебелая дама, обнимающаяся с Вакхом, выставила розовые формы. Штатский туберкулезник с трудом отвел глаза.

Следующий двигался расслабленно и устало. Он взбил височки, скрестил руки на груди коричневого бархатного пиджака и выставил ногу в обтянутой клетчатой штанине с выражением достоинства и непринужденности.

Однако донесся не изящный букет парфюма, но слабое удушливое веянье параша, кислой баланды, невымытого белья – запах камеры, незабываемый каждым, кто удо стоился однажды его нюхнуть.

Он откинул голову и озвучил тишину:

– Пока свободой горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прек...

Конвоир без замаха ткнул его в почку и подхватил оседающее тело.

– Говорить будешь, когда я прикажу, – сказал Жуков. – «Честь». Ну-ка, что там про его честь, ты, писатель.

Правый заседатель булькнул гортанью и перелистал, ища

место:

«Встретив на Невском у Александровского сада Фаддея Булгарина, поинтересовавшегося у него, почему народное волнение и передвижение войск, и не знает ли он, что это происходит, отвечал ему: „Шел бы ты отсюда, Фаддей, здесь люди умирать на площади идут”. Но сам после этого, однако, на площадь не пошел, а вернулся до угла Мойки и зашел в кухмистерскую Вольфа, где и пообедал, выпил полубутылку „Шато”, после чего поехал на извозчике домой, где и провел с женой все время до ареста...»

– Тьфу, – поморщился Жуков. – Повесить.

– Я бы хотел походатайствовать, – проокал правый и посо-сал моржовый ус. – Кондратий Федорович талантливый поэт, он мог бы принести еще много пользы нашей литературе. Союз писателей поможет. Прошу записать мое особое мнение – ну, выслать в Европу. Да! Для лечения. Душевной болезни. Явной.

– Добрый ты, Алексей Максимович, аж спасу нет, – сказал Жуков. – Походатайствовал? И ладно. Отказать.

– Он принесет литературе. – сказал маршал в ремнях. – Инструкцию, как шашки точить... Как там? – три ножа с молитвой в спину? Точильщик хренов! Вот самые вредные – вот эти вот интеллигенты. Подзудят – а сами в кусты. Пожрал, выпил – и домой, к жинке под бочок. А другие за них рубай, значит, серая кость. Был у меня тоже один такой... комиссар, понимаешь... ну, недолго прокомиссарил, – он бе-

лозубо усмехнулся.

Рылеев хрустнул пальцами. «Жена не перенесет», – про-
бормотал он...

– Чего? Лагеря? Увести.

Истопник по дуге пересек зал, стараясь ступать деликатно
в мягких валенках и, не удержав, с грохотом свалил березо-
вую охапку на медный лист под высокой голландской печью.
Свежо и мерзло запахло лесом.

Бухнула петропавловская пушка. Жуков раздул ноздри.

– Полдень. – Буденный потер руки и гаркнул: – Весто-
вой!!!

– Ты не в степи, Семен, – заметил Жуков, прочищая ухо.

Звеня шпорами, вестовой установил поднос и сдернул
салфетку.

– Степь – это классика, – мечтательно отозвался Горький,
дрожащей рукой принимая стопку.

– Ну, за победу, – возгласил Жуков, поправляя проклятую
звезду.

– За нашу победу, – уточнил Буденный.

Выпили. Выдохнули. Потянулись вилками.

За второй Горький прожевал ком осетровой икры и запла-
кал.

– Вы даже сами не знаете... черти драповые... какое
огромное дело вы делаете, – всхлипнул он, пытаясь обнять
Жукова и роняя жемчужину с усов на огромный варвар ский
орден, вмонтированный в его иконостас, скорее напоминаю-

щий пестрый панцирь.

– Вестовой! – рявкнул в свою очередь Жуков и сделал стригущее движение двумя пальцами.

– Так точно, – прогнулся вестовой, выудил из кармана кавалерийских галифе ножницы и двумя снайперскими щелканьями обкорнал плантацию классика до уставной ширины.

Горький взглянул в подставленное зеркальце и сотрясся.

– Читать легче будет, – утешил Жуков.

– И писать, – добавил Буденный.

– По усам не текло, а в рот попало. Ха-ха-ха!

– А хочешь, шашкой добрею, – предложил Буденный, нацедил из графина и подложил классику бутерброд с жирной ветчиной. – Ты ешь, ешь, сало – оно для легких полезное.

После перерыва ввели человека странного. Чернявый, тонкий, быстрый и дерганый в движениях, он напоминал муравья. Облачен он был в какой-то рваный балахон, а солнечный свет из окон образовывал в тонких всклокоченных волосах нечто в роде нимба.

– Муравьев-Апостол, – догадался Горький. – Как же вы, батенька, с такой-то фамилией – и на кровопролитие решились? – укоризненно выставил он желтый от никотина палец.

– В том-то и дело, что не смогли решиться! – отчаянно сказал Муравьев. – Шампанского ночью выпьешь у девок – так на все готов! А утром, на трезвую голову, да по морозу, на людей, на штыки посмотришь – и понимаешь: революция – это ведь потом море крови, не остановить будет... Спро-

сишь себя – готов ли? А душа, душа не может...

– А не можешь – так не берись, дурак! – стукнул Буденный шашкой в пол. – Либо выпей перед атакой.

– К апостолам, – тяжело сострил Жуков.

Процедуру осуждения уложили в четырнадцать минут.

– После чарки дело завсегда спорится, – подмигнул Буденный.

Свято место, которому не быть пусто, занял человек, которого Горький, накануне добравшийся, в чтении по обыкновению на ночь Брокгауза и Эфрона, до буквы «М», охарактеризовал как мизерабля. «Вот именно, – поддержал Буденный, также разбиравшийся в карточных терминах не хуже этого интеллигента, – мизер, а, бя! А туда же лезет».

Уловивший французское слово человек с болезненной надеждой воззвал к Горькому, торопясь и захлебываясь:

– Господа, я же во всем покался добровольно, все показал, господа. Я был обманут, меня использовали! Я не хотел, клянусь честью... клянусь Богом... На заседании все насели, все как один: «Цареубийцу придется покарать, иначе народ не поймет – Каховский, ты сир, одинок, своим уходом из мира ты никого не обездолишь – тебе выпадает свершить этот подвиг самоотвержения... – мне страшно вымолвить, господа!... лишить жизни самодержца... – тирана, говорят, уничтожить, святое дело... Пожертвуй собою для общества!» Но я не стал, господа, я никогда бы не смог, не смел! Я был в состоянии тяжкого душевного волнения, в аффекте, господа!

– Чин, – тяжело отломил Жуков.

– Поручик! Обычный армейский поручик! Жил на жалованье, нареканий по службе не имел. Поили шампанским... поддался на провокацию. Завербовали! Французские шпионы! Я все написал, господа... Они пели «Марсельезу»!

– А ты?

– Не пел. Не пел!

– Отчего же? Выпил мало?

– У меня дурной французский, они смеялись! И слуха музыкального нет. И голоса... только командный, в юнкерском училище ставили. А они все – на меня: Пестеля в главнокомандующие, Трубецкого в диктаторы, Рылеев – мозг, гением отмечен, Бестужеву войска выводить – давай, Каховский, вноси лепту, убивай царя!

– Русский офицер, – брезгливо махнул Жуков.

– Гад-дючья кость, – ослепительно осклабился Буденный.

– Дорогой вы мой человек... – скорбно заключил Горький.

Жуков поворошил пухлую папку и приподнял бровь.

– Какой был военный смысл убивать генерала Милорадовича? – с недоумением спросил он.

– Солдаты сомневаться стали, – злобно вспомнил Каховский. – Герой войны, боевые ордена, раны, в атаки ходил пред строй. Его слушать стали, все могло рухнуть! Но я – я так... я не хотел... пистолет дали, и не помнил, что заряжен... я рефлекторно, господа!

– Генерала свалил – молодец, конечно... но это еще не

оправдание, – решил Буденный. – Может, выслужиться хотел.

– Хоть один что-то пытался, и тот кретин, – подвел итог Жуков.

– На всех поручиков генералов не напасешься, – проокал Горький.

– Господа! Я дал все показания одним из первых! Совесть жжет меня, не могу ни стоять, ни сидеть спокойно с тех пор...

Горький покивал и продекламировал с печалью:

– Не могу я ни лежать, ни стоять и ни сидеть, надо будет посмотреть, не смогу ли я висеть.

Жуков скупно растянул губы. Буденный захохотал вкусно и, потянувшись за его спиной, похлопал Горького по плечу.

– Следующего давай.

Бестужев-Рюмин щелкнул каблуками и доложил четко.

Буденный поинтересовался вежливо:

– Вы Рюмину не родственник будете?

Под столом Жуков пнул его генеральским ботинком и больно попал в голяшку.

– Так. Время позволяет. Дай-ка хоть с тобой разберемся. – Жуков откинулся в кресле. – Ты во сколько людей вывел к месту?

– В половине десятого утра все стояли. На площади.

– Стояли, значит. На площади. Чего стояли?

Бестужев вздохнул и потупился.

– Ну, и чего выстояли? Я – спрашиваю – чего – ждали????!!!

– Своих... восставших. Мятежников то есть, – поспешно поправился он.

– Кого?! Откуда ждали?!

– Не могу знать. Князь Трубецкой обещал... Семеновский полк, про лейб-кирасир еще говорили...

– И до сколько стояли?

– До четверти четвертого пополудни.

– А дальше что?

– К конноартиллерийской полубатарее огневой припас доставили.

– И что?

– И взяли каре на картечь.

– И что?

– И... и все...

– Дистанция огня?

– Сто саженьей.

– Досыгаемость твоего ружейного огня?

– Сто пятьдесят саженьей.

– Па-ачему не перебили орудийную прислугу?!

– Огневых припасов при себе не было.

– Па-ачему не было?!

– Утром торопились.

– А кавалерия где была?! – загремел Буденный, вступая. – В один мах достать! – возбужденно спружинил на полусо-

гнутых. – Кого учили – кавалерией не пренебрегать? Да я бы с полуэскадроном вырубил эту гниль!

Получил еще пинок в то же больное место и, кривясь, сел.

– Почему не взяли на штык? – продолжил Жуков.

– Упустили время.

– Почему упустили.

– Стояли...

– Чтоб у тебя хер так стоял!!! – взорвался Жуков и грохнул кулаком, сбив графин: звякнуло, потекло. – Козел! Кре-тин! Мудак! Кто тебя, мудака, в офицеры произвел?! Я спрашиваю – где учился?! Ма-ал-ча-а-ать!!! Повесить этого пидора! Повесить!

– Генерал Мале. – покашлял Горький, мысленно хваля себя, что так ко времени дочитал до «М». – поднимая восстание против Наполеона, сбежал из желтого дома. Из какого же дурдома, дорогой вы мой человек, сумели выбраться вы?..

– Семен, пиши. За отсутствие плана операции... За необеспечение материального снабжения операции... За полное отсутствие управления войсками в бою, по влекшее срыв операции и уничтожение противником вверенных частей... За полное служебное несоответствие званию и занимаемой должности... Твою мать, да тебя нужно было повесить до того, заранее, глядишь чего бы и вышло.

Буденный покрылся мелким бисером и зацарапал пером. Горький гулко прокашлялся в платок, высморкался и утер слезы:

– Голубчик, а вам солдатиков, зря перебитых, не жаль? С картечной пулей в животе на льду корчиться – это ведь не комильфо... в смысле – не комфорт. Похуже петли-то. А ведь всё русские люди, вчерашние крестьяне... вы же их обманули, они вам доверились.

– А нам, дворянам, только свой животик дорог. – Буденный обрадовался поводу оторваться от письма. – А солдаты, пушечное мясо, серая скотинка – это нам по хер дым, не колышет.

Жуков махнул рукой:

– Солдат вам бабы новых нарожают, Россия велика. Положил бы за дело – не жалко. Операция провалена бездарно. Преступно!

Стукнув прикладами, сменились часовые у дверей.

Князь исхитрился подать себя со столь глубинным скромным достоинством, что конвоиры на миг вообразились почетным эскортом. Изящен, как кларнет, причем отчего-то юный, подумал Горький, озадаченный странностью собственного сравнения. Эть, трубка клистирная, засопел Буденный. Жуковская ассоциация же была прямой, нецензурной и краткой.

– Ну что... диктатор... – он подался вперед. – Где ж ты был, когда пришло время диктаторствовать. В кустах?!

– В последний миг осознал всю тяжесть задуманного преступления. И не нашел сил свершить его, ваше высокопревосходительство. – веско отвечал Трубецкой, по-военному

откусывая фразы.

– А почему тогда не вышел на площадь, чтобы остановить людей и развести по казармам?

– Не имел сил взглянуть им в глаза. И нарушить данное слово...

– А чего нарушил? Почему не вступил в обязанности? Не повел людей на дворец, не арестовал царя с семьей, не использовал растерянность и полное отсутствие сопротивления противника?

– Изменить присяге счел невозможным. – Князь коротко склонил голову с видом благородного сознания вины и полной за эту вину ответственности. – Я имел честь все изложить письменно, ваше высокопревосходительство. Показания мои приобщены к делу, там можно все прочесть.

Позади стола отворилась неприметная дверца в дубовой панели, и в ней появился Николай. Зеленый Преображенский мундир обливал статный силуэт с талией, утянутой в корсет. Он прошелся бесшумно позади судейских кресел, попыхивая короткой фарфоровой трубкой.

– Я полагаю – повесить. – заключил Жуков, обозначая затылком легкий кивок назад, в адрес верховной власти.

– Георгий Константинович. – мягким металлическим баритоном произнес император. – может быть, нам следует учесть чистосердечное и глубокое раскаяние князя Трубецкого, давшего добровольно показания на всех последственных. И учесть ходатайства ряда известных лиц за предста-

вителя славной и древней фамилии? Возможно ли смягчить наказание? Я думаю, возможно.

Буденный готовно отбросил изуродованный лист и схватил чистый. Слезы Горького просветлели, сырые кружочки расплылись на серых лацканах.

Жуков увесисто вскочил, отшвырнув ногой кресло, подошел к большой карте Санкт-Петербурга на стене и резко раздернул на ней полупрозрачные кисейные шторы. Схватил красный карандаш и поставил большой крест на Петровской площади.

– Николай Павлович. – раздраженно бросил он через плечо. – вы мешаете работать.

Выпуклые голубые глаза Николая ничего не отразили. Он постоял недолгое время и скрылся, бесшумно притворив за собой дверцу.

– Ты что, оглох?! Я сказал – повесить! – бешено повторил Жуков.

Буденный поменял листы местами ловко, как наперсточник.

– Я думаю, Государь вас помилует. – посочувствовал Горький Трубецкому, бледному после озвучивания приговора.

– О, благодарю вас, сэр. – отвечал тот почему-то по-английски. – родная мать не сумела бы утешить меня лучше.

– Я ему помилую. – тяжело пообещал Жуков. – Главнокомандующий хренов. И пусть только веревка порвется!

В это время в своем малом кабинете Николай позвонил в начищенный серебряный колокольчик и приказал вошедшему с поклоном секретарю:

– На завтра – подготовь на подпись указ о назначении Жукова... м-м... ну, скажем, командующим Одесским военным округом. – Поднялся, продефилировал к окну, пыхнул трубочкой, пробарабанил пальцами по зеленоватому венецианскому стеклу в свинцовом переплете. – И, кстати, о назначении следственной комиссии по его хищениям. Не много ли трофеев приволок из европ наш герой. Уж больно крут стал. Пора бы его... равноудалить.

Дальше. Где там у Горького недвижимость? На Кипре?

– На Капри, ваше императорское величество.

– Один черт. Вот пусть туда и катится. Тоже... борец за свободу слова. Еще мне только шелкоперы государственных преступников не защищали. Ничего, обойдется Союз писателей без заточек этого барда. Дать письменнику на лекарства и пригрозить следствием.

– Буденный? – спросил секретарь, переламываясь в пояснице, и нацелился пером.

– На чем он там играет? На волыне? На баяне. – Николай поморщился. – В ансамбль Моисеева. Да не того! – к старому. Пожарным инспектором – за неимением кавалерии. Как там у Покрасса? – «Мы красные кавалеристы, трам-пам-пам!..»

Подполковник Ковалев

Мелкая нервотрепка... не бой даже. Хлопнул гранатомет, вылетел из зеленки трассер. Скатились с матом, засадили из всех стволов, башенная сварка отстучала по листве; сдвинулись, отошли... Утихомирилось.

День был ветреный, сизая туча валилась через хребет. В тишину возвращались звуки: каменистая речка гремела на перекате. Ковалев оглядел своих, втянул ноздрями, махнул рукой: полез на броню. Притерся на твердом, упер каблук в лючок амбразуры. Тут все и произошло.

Судя по удару, это была крупнокалиберная пуля из снайперки на излете. По лицу огрели оглоблей. Подпрыгнуло и взорвалось. Спустя черно-искристый миг очнувшись, Ковалев схватился за лицо. Где нос непонятно ощутилась пустая маслянистая ровность.

Сержант Лехно утверждал, что видел всплеск, когда в воду что-то упало. Первое отделение зашурудило в брызгах, чтоб нос найти и после, если получится, пришить в госпитале, а там в Ростове или даже в Москве пластиче ские хирурги все смогут поправить как было. Но течение несло бесследно. Зачистили по возможности участок реки, зачистка результатов не дала.

Санчасть, водка, госпиталь, тоска, комиссия. Сон: глотаешь кровь и задыхаешься.

В принципе офицер без носа служить может. Без многого служат. Танкисты иногда и не так горели, и ничего – после лечения возвращались в строй, даром что лицо составлено из розовых кукольных протезов. Но вообще не принято употреблять офицера без носа. Начальство со чло, что увечье деморализующе воздействует на личный состав.

И Ковалева подвесили на нерве. Собрались вчистую уволить, потом в кадрах сжалились – куда строевик-подполковник без всякой гражданской специальности, и вдобавок без носа, денется, с крошечной неполной пенсией? В семье настало – жрать нечего. Пороги, адъютанты, телефоны поднявшихся по службе однокашников. Выбил назначение в военкомат.

Колеса – тук-тук: стрельба снится все реже. Прибыл, доложил – кабинетик, стол-телефон, сейф с макулатурой под портретом президента. Чемоданы в снятой комнате – под кровать и на шкаф. Ну – с новосельем!

– Живы будем, подполковник!

– Ты ешь, милый...

Видуха по делу – страшноват. Но со временем привык и ко взглядам, и с зеркалом договорился. И окружающие приняли, встроили в свою жизнь. Страшноватость словно отлакировалась привычкой и приобрела своего рода индивидуальную законченность. Проявилось сходство не то с генералом Лебедем, не то с чемпионом мира по боксу в среднем весе Свенотке. Вполне мужественные вывески.

Что попить стал – жизнь офицерская. (Ну, всучат замвоенкому всяко-разно по мелочи.) Вот что с женой разошелся... а кто сейчас без развода в биографии. И даже самый аристократический нос от этого не гарантирует. Иногда наоборот – добровольно нос отдашь и уши впридачу, лишь бы развестись. Нормальной бабе нос по фигу, она к другим качествам тянется. Хорошо хоть дети уже школу кончают... половину зарплаты Ковалев сам отдавал, без всяких алиментов.

Так что жил подполковник – нормально. Служба в конторе, по часам от и до, ночуешь дома, выходные твои. А что призывников по щелям отлавливать приходится – так это лучше ведь, чем чечен из гор выковыривать.

В окружном госпитале нищета. Спустя время напрягся – съездил в отпуск в Москву. А там все куплено – не пробыешься. Его направление отфутболили не глядя. Ну, записался на пластическую хирургию в приличную клинику. Очередь – года четыре. За большие деньги – свободно, но откуда у офицера эти тысячи долларов, если не ворует? А взятки Ковалев не брал. Бутылку мог, а деньгами – не переступал. Может, и дурак.

Один урод и вопил, что, видно, мозги ему отстрелили, а не нос, если он за штуку баксов не может белый билет нарисовать – не взял Ковалев штуку, а сучонка законопатил в погранцы на Чукотку. Пусть послужит.

Короче, весело-нет, дела устоялись. Из душевного равно-

веса вышиб его телевизор. Если гадский ящик смотреть подольше – он кого хочешь вышибет. Борец сумо по сравнению с нашим телевизором – это былинка на ветру... но не будем отвлекаться.

Вечер был субботний. Ковалев смотрел репортаж из Чечни. Он выпил, полил картофелину маслом из консервной банки и потащил сигарету. Погнали хронику из лагеря боевиков, заснятую каким-то западным телевизионщиком. Чисто экипированные ваххабиты раскинулись вокруг костра и напоказ ласкали оружие. Огрызки полетели по полу.

Нос был повязан зеленой косынкой, под ней горели глаза из смоляной бороды, но узнавался сразу – хрящеватый, нервный. На коленях он держал гранатомет, а в руке – кусок жареного мяса. Он отложил мясо, вытер пальцы о траву и зашпарил по-чеченски – гортанно.

Ковалев засадил полный стакан и протрезвел.

– Мы будем сражаться за свободу нашей земли до последнего бойца. – плел мелодию неодушевленный перевод, почему-то женским голосом. – Никогда неверные собаки не покорают наш народ... – И так далее.

Ночью Ковалев пытался собрать мысли. Мысли были одеты в камуфляж и перемещались по штабной карте. На ней пушился хлопок, и Армстронг ревел, как установка залпового огня: «Let my people go». Ковалев грохнул в стену так, что у них там что-то упало, и соседскую музыку обрезало.

Назавтра у Ковалева исчез мизинец на левой руке. Замо-

тано тряпкой, и расплылось красное по тряпке. Он сходил в винный и подумал про обычаи якудза. Не вспоминалось... В раковине с грязной посудой обнаружилось бурое на ноже. Господи, черт, сука!.. Рыл вещи, мусор, грязное белье, греб пыль из углов веником – палец не находился. К темноте, пlying под пиво, решился обзвонить знакомых. «Никто не понимает. Они не понимают.»

Он увидел его через месяц по телику: показывали вручение какой-то литературной премии. Мизинец, маленький и не слишком аккуратный, странновато прогнутый в обратную сторону, сноровисто и жеманно хлопал рюмку за рюмкой и поглощал бутерброды в невероятном количестве. «И куда в него лезет». – позавидовал Ковалев.

Вспомнилось, как перед свадьбой написал стихотворение жене. И еще на третьем курсе – в стенгазету к 23 февраля. В библиотеку записаться, что ли; время есть.

А вскоре обнаружился и безымянный – в передаче «Моя семья». На нем по-прежнему блестело обручальное кольцо. Он без стыда рассказывал о своем фиаско в семейной жизни, напирая на то, что жена вечно пеняла ему за безымянность и бедность, и вообще за слабость во всех смыслах. Ведущий кивал поощрительно и подливал сок, разворачивая пачку этикеткой к экрану. Зрители ошарашивали бестактными вопросами и давали столь же бестактные советы, но Безымянный совсем не смущался, а наоборот, цвел и чувствовал себя как рыба в воде. Комариная иголочка ревности к его

славе, пусть сиюминутной, кольнула Ковалева под ложечку.

И шквал запахов рванул и понес. Фруктовый сок, пузырящийся в толстом стакане ведущего, оглушил терпкой свежестью раскушенного зеленого яблока, яблоневого цвет дурманил, прорезался из забытья запах маминой юбки и убаюкал, сортирная хлорка и курсантская кирза покрыли его, осадил глотку солярный выхлоп брони, пороховая гарь прослоилась теплой детской пеленкой, пыль плаца, пот жены, железнодорожный мазут, снег в поле и орудийный металл, прохладный лес, каленая степь, тяжелый шелк и мокрая псина, а потом все стало стягиваться, как парашют в ранец, как джинн в бутылку, и последним исчез запах окурков и дешевой водки. В госпитале рассказывали про фантомные боли и ощущения. Ковалев после ранения запахи не воспринимал.

Он подавил желание осмотреть всего себя в зеркале, для сна запил две таблетки стопарем и вырубил ящик на хрен.

Утром болела голова, а в субботу возник большой. Он угрозоздился в полуночной программе «Хорошо бы!» и был массивен здоровой полнотой жизнелюба, отрастил пушистые каштановые усы и по любому поводу, которого касался, растягивал румянец в аппетитной улыбке: ехидно восторгался, что все хорошо, жизнь – во! – на большой с присыпкой. Ковалев невольно заржал, а после возвысился до мук философского противоречия: ненавидеть его за предательство – или радоваться, что хоть кто-то свой хорошо устроился.

А вот судьба указательного и мизинца с правой руки сло-

жилаась иначе. Они взяли Ковалева на гоп-стоп в собственном подъезде, объяснив, что за пальцовку отвечать надо. Били злобно, причем указательный орудовал куском шланга, а мизинец – кастетом. В старые времена Ковалев положил бы их на месте – а теперь отобрали кошелек с двумя сотнями рублей и сняли «Командирские» с именной гравировкой: «Майору Ковалеву за проявленную храбрость от командования».

«Убивать. – бормотал и кряхтел он у крана, обмывая ссадины. – Убивать...»

После того, как правый средний попал к нему в призывной команде и отказался идти служить, мотивируя слабым здоровьем и трясая кучей справок, Ковалев понял, что из армии пора увольняться. Пенсия с гулькин фиг, но кормятся как-то люди. Можно подрабатывать, в конце концов, хоть охранником, хоть кем. Из его выпуска половина уже на гражданке.

«Комсомолку» он иногда подцеплял из соседского ящика проволочным крючком. Но читал аккуратно и назавтра обычно совал обратно. Увидев на развороте культуры статью про художника Ван-Гога и «Автопортрет с отрезанным ухом», он похолодел от ужаса. И подтвердилось: это было как раз 20 декабря. День чекиста, транслировали праздничный концерт – и его ухо сидело в зале и слушало, как Олег Газманов на сцене поет: «Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом». Все встали, и ухо тоже встало. Справа у него

проблескивал орден Красной Звезды, а слева «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

– Тварь. – прошептал Ковалев. – Уж наверное у меня заслуг больше, чем у тебя! – У него самого орденов не было.

А другое ухо то и дело проскальзывало на канале «Культура»: оно млело на всяких симфониях с видом необыкновенно значительным, как бы говоря: «Вы вот дерьмо и серость некультурная, а для меня нет выше наслаждения, чем классическая музыка». Ковалев всегда вспоминал, как именно в это ухо ему засветил комбат Жечков, когда сам он еще командовал ротой в Приднестровье, и ухо с тех пор слышало туговато, а после артиллерийской стрельбы пару дней в нем гудело и бухало. «И сейчас поди бухает». – злорадно думал он.

Характер ставили в училище – на всю жизнь. Победил – молодец, побежден – дерьмо: копи силы и добейся реванша. Но к какому месту прикладывать силы, чтоб жизнь была посправедливее? Все врут свое и рвут свое. В полнолуние Ковалев даже проснулся от умственного усилия.

Синяя луна лезла в окно, как раскормленный вурдалак. Тень объедков на столе чернела резко, как горный пейзаж. Крошечная камнедробилка хрустела под плинтусом: мышь разбиралась с коркой. А на ум шел только комбат-2 Жека Камирский по кличке «Джек-Потрошитель».

Новым смыслом обогатилось выражение «играть в ящик», и не унимался ящик. Далекая Америка запестрела в нем,

конкретизировалась титром «Русская», и левая нога выступила на фоне Манхэттена. Она не просто свалила туда, а еще и умудрилась получить статус беженца, как инвалид войны. (Ранение-то было – царапина.) И что ей, суке, стоило взять Ковалева с собой? Ведь неплохо, казалось бы, жили. Ну, бывал сапог тесен, ну, гудела иногда после марша, но ведь сам, своими руками, мыл ее, носки ей менял, ногти стриг.

В стиле «привета друзьям» она звенела, что Америка – идеальная страна, она с детства о ней мечтала и учила английский, у нее бесплатная квартира, медицинская страховка, талоны на питание, и здесь наконец она обрела заслуженный отдых. Декларацию разнообразили одесские нотки и неуклюжие американские обороты. Ну не гадина ли?

А левая рука, проявив неожиданную ухватистость, путем неясных комбинаций проскреблась в депутаты Госдумы. И там проголосовала за секвестирование бюджета и пересмотр социальных статей, и пенсию Ковалеву не индексировали – напротив, лишили бесплатного проезда на транспорте, пообещав надбавку в будущем.

А однажды утром выяснилось, что ушел Федор. Федор – потому что на самом деле Ковалев звал его Хфедей, а Хфедя – потому что на букву «х». Сами понимаете.

Хфедор известил, что возвращается к жене, и из контекста рассказа Ковалев понял, что он считает его жену, Ковалева, собственной. Они жили душа в душу, разливался Федор, и жена упрашивает его переехать к ней. А Ковалев сам вино-

ват, что полноте жизни предпочел водку и казарму, тем и подорвал здоровье. И нудил про диету, простату и зарплату.

Еще несколько раз он заходил – в новом костюме, крепкий, наглый, и забирал всякие мужские мелочи вроде лезвий и резинок. В последний раз за окном зафырчала машина, и Ковалев успел разглядеть, как жена обняла Федора и поправила ему галстук. У Ковалева помутилось в глазах, и про мокрое на щеках он понял, что это слезы.

Он переживал долго, пытался презирать; и машина у них откуда. Жена жила бедно, а Федор – и того беднее. Вечерами въелось в привычку строить предположения. Одно из предположений позднее подтвердила уголовная хроника: Федор связался с группировкой, торговавшей живым товаром – продавали девчонок в арабские страны.

«Всегда был беспринципным, подонок». – прошипел Ковалев.

Федору ломилось двенадцать лет, но адвокат отмазал: четыре условно. По манерам адвоката можно было предположить не только то, что его хорошо подмазали, без этого сейчас не бывает, но и то, что Федор сменил ориентацию. Ковалев почувствовал позыв к тошноте. Несмотря на армейскую закалку, в некоторых отношениях он был брезглив до чрезвычайности.

Впоследствии Федор сделал мелкую карьеру на эстраде: пел с подтанцовкой двусмысленные песенки, обнажаясь до неприличия. Следовал моде: стриг капусту.

Но жопа, жопа! Если вас шокирует слово, по паспорту она стала Женей, даже Евгенией, но так ее все равно никто не называл. Годами более или менее исправно делая свое дело, исполнительная, хотя и туповатая Женя дослужилась до министра культуры, провозглашала тосты на банкетах и даже вела собственное ток-шоу. И ей поддакивали!.. Она носила очки, морщила то, что служило ей лбом, и произносила речи о восстановлении национальных культурных традиций.

Однажды пьяный поэт-постмодернист обозвал ее старым именем, и в результате она лишила его гранта на проживание полгода в Мюнхене и затаскала по судам, выиграв иск о защите своей чести и достоинства.

Да что Женя – даже правый ус, нещадно дерганный до нервного тика, вечно обкусанный, побуревший от никотина ус устроился в ГАИ и собирал поборы на асфальте. Но этот хоть иногда ставил бутылку.

И волосы разбрелись кто куда...

Ковалева хоронили в августе. Было воскресенье и годовщина чего-то. Кладбище было запущенное, с березами и просторным небом. Ковалев лежал в гробу маленький и скобоченный, словно с одной стороны у него не хватало ребер.

Нетрезвые, как принято, могильщики меж собой пожали плечами, что покойника в столь скромном чине и без особых наград провожает почетный караул. Правда, он состоял всего из нескольких человек, но эти несколько были в краповых беретах, хотя некрупные, но коренастые, крепкие, и встали

они к плечу плечо ровно, как зубы во рту.

От залпа «Калашниковых» слетели первые пожелтевшие листья. Отстрелянные гильзы блеснули, и одна цокнула по старой мраморной плите за спинами.

Потом две белые гвоздики положила на холмик единственная присутствовавшая девушка. Она была не столько стройной, сколько худа, даже костлява, но лицо имела своеобразной красоты, прозрачное, как бывает у балерин. Хотя было в этой красоте и что-то злое, жестокое, если приглядеться.

Вольнонаемная, что ли, подумал могильщик. Какая-нибудь связистка.

Узкоколейка

Литвиненко раньше был начальником колонии. Леспромхозом же директорствовал Иван Иванович Шталь. Он не всегда был Иван Ивановичем. Он до сорок первого года именовался Иоганном Иоганновичем и был председателем колхоза в Республике немцев Поволжья. А потом всем, так сказать, колхозом очутился в Коми. Валили лес для государства и растили картошку для себя, – ничего, жили.

В пятьдесят шестом году сняли колючую проволоку вокруг барачков, увезли на самолетах охрану, и леспромхоз полностью перешел на свободную рабсилу. Многие, надо сказать, так на месте и остались: ехать некуда. Обзавелись семьями, получили зарплату, хозяйство развели, – опять же ничего, жили.

Но, естественно, производительность труда несколько упала, а себестоимость леса несколько выросла. И организация ухудшилась, поскольку руководить людьми стало не в пример труднее: как средства наказания, так и возможности поощрения свелись к минимуму. Что называется, дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут. Чем ты можешь напугать человека, который и так валит лес в приполярной тайге?..

Областное начальство получило втык из Москвы, устроило разнос районному, местная власть прибыла на Ли-2 в лес-

промхоз и, оценив на месте обстановку, приняла простое и мудрое решение: Иоганна Иоганновича восстановили в партии и дали задание: вывести леспромхоз из прорыва.

И Иоганн Иоганнович с немецкой деловитостью навел порядок. Он отправил толкача в Мурманск – проталкивать продовольствие Севморпутем, ибо завозили все в короткую северную навигацию, а также в Сыктывкар – вышибать из местных Минфина и Минлеспрома максимум денег в заработный фонд, ну и перехватывать вовремя технику и ГСМ. И дело понемногу пошло.

Но затем в шестидесятые годы заработки стали урезать. Если раньше за каждый заработанный сверх наряд-задания рубль платили еще рубль премии, то теперь – шиш. План рос из года в год, чего нельзя было сказать о доходах. В результате выработка стала уменьшаться обратно пропорционально росту плана. А Иван Иванович начал с криками просыпаться по ночам, мучимый кошмарами о ревизиях, вскрывающих приписки.

Через десять лет такой жизни Иван Иванович, награжденный к тому времени орденом Дружбы народов, отчаявшись уволиться добром, полетел в Сыктывкар и лег на обследование. Мужик он был жилистый, выносливый, водкой не злоупотреблял, но подобная биография редко способствует укреплению природного здоровья: Иван Иванович получил неопровержимую справку, которая гласила о противопоказанности его изношенному организму местного неласкового

климата, и отбыл на материк, на Запад, в Эстонию.

– Куплю хутор, заведу корову, – мечтательно сказал он. – Сил моих больше нет. Посадят. А за что? С меня хватит.

Надо сказать, что уговаривали Ивана Ивановича остаться не только начальство, но и работяги. Народ имел некоторое представление о том, что делается в соседних леспромхозах, и Ивана Ивановича любил. Знали, что справедлив, за грех не спустит, но заработать всегда даст и лишнего не потребует. Так что на проводах речи произносились вполне искренние, и даже лились слезы, – правда, и выпито было соответствующе.

– Дуй уж прямо в Германию, Иваныч! – напутствовали. – Хрен ли тут намучился.

Несколько месяцев все шло вкривь и вкось под управлением бесхарактерного главного инженера, а потом прислали им Литвиненко.

Литвиненко прилетел со всем семейством, одетый, разумеется, в гражданское. В этих краях его прошлая карьера популярности не способствовала. Разумеется, и так все вскоре оказалось известно. Но это ничего, это бывает, мало ли чем человека могут поставить руководить. Однако добра большого не ждали, и в этом ожидании, как обычно случается, оказались правы.

Литвиненко очутился, следует признаться, в положении незавидном: сверху давит начальство, а снизу не хотят давиться подчиненные. Что называется, между молотом и на-

ковальней. Но поскольку молот шарахает по наковальне, а не наоборот, то с ним в первую очередь и приходится считаться.

Литвиненко осмотрелся и начал действовать. Собрал собрание и произнес речь, призывая трудящихся поднатужиться, усилить, выполнить, оправдать и добиться, дабы достичь сияющих вершин. В ответ были брошены явно провокационные вопросы о заработках, продуктах, жилье, детсаде и прочем, что хотели урвать несознательные работяги от разваливающегося леспромхоза.

– Как поработаете, товарищи, так будете жить.

– Мало вламываем, что ли?

– Чтоб он так жил, как мы работаем, – прозвучало анонимное пожелание из зала.

Литвиненко, как человек прямой и в чем-то даже военный в прошлом, стал честно выполнять обещанное. В чем не преуспел.

Он попросил временно снизить план, в ответ на что ему было указано на политическую несознательность и непонимание государственных интересов.

Попросил увеличить премиальный фонд, на что было сказано, что его задача – повышать рентабельность хозяйства, а не понижать.

Попросил увеличить фонды на соцнужды, на что ответили, что рады бы, но помочь пока не в силах, есть узаконенные нормы...

Также не было новой техники, запчастей к старой, культ-

товаров, солярки и барж в навигацию.

— А как же выполнять распоряжение? — с офицерскими субординационными нотками спросил он.

— Улучшать организацию труда, — командным тоном дало начальство ответ в высшей степени туманный. — Крепить трудовую дисциплину! Изыскивать внутренние резервы.

Литвиненко хотел возразить, что на прежней работе изыскание внутренних резервов было делом ясным, а на нынешней как? Но, во-первых, был приучен всей прошлой жизнью начальству не возражать, а во-вторых, убоился, что такой вопрос могут счесть желанием вернуться к старым и осужденным как ошибочные методам управления.

Прилетев домой мрачнее тучи, Литвиненко скомандовал жене подать закуски и, следуя старому русскому правилу поисков выхода из трудного положения, нарезался со страшной силой. Мужик он был массивный, крепкий, и выход осенил его к концу третьей бутылки.

От бутылок этих, стоимостью в те времена три рубля шестьдесят две копейки или же четыре двенадцать, плюс северная наценка, деятельность леспромхоза зависела весьма сильно. Впрямую зависела, можно сказать.

Усть-Куломский леспромхоз состоял из трех поселков: собственно Усть-Кулома, Машковой Поляны и Белоборска. Такое расчленение имело свои выгоды и недостатки.

К выгодам относилось то, что финорганам для выплаты всем работникам зарплаты хватало одной шестой от общей

номинальной суммы: одними и теми же дензнаками дважды в месяц платили в три очереди. Чтоб было яснее: выдавался аванс в Усть-Куломе, толпа сутки волновалась у кассы, и затем два-три дня никто не работал: деньги бесперебойно перетекали в сейф магазина, а оттуда – в отделение банка, расположенное через дорогу. Когда практически вся выплаченная сумма возвращалась в банк, – в основном через магазин, частично через сберкассу, занимавшую половину того же дома, – деньги запаковывали в мешок и отправляли в газике с охранником в Белоборск, где повторялся аналогичный цикл. А Усть-Кулом тем временем приходил в себя, отпивался рассолом и чаем и выезжал в лес на работу. За месяц деньги должны были обернуться шесть раз, поэтому иногда случались задержки: в Машковой Поляне уже волнуется очередь у кассы, а в Белоборске еще не рассосалась очередь в магазин, и молоденький заведующий отделением банка орет на завмага, чтоб давала подмогу в винный отдел.

Некоторые купюры стали жителям старыми знакомцами, поскольку бумага на деньги идет качественная и служит долго. Егор Карманов, машинист мотовоза, как-то из интереса специально пометил крестиком новенький червонец, и с тех пор дважды в месяц кто-нибудь кричал:

– Егор, а вот и твой крестник! Меняемся на двадцатку! – И все смеялись.

Однажды случилась катастрофа: баржу с водкой не то затерло льдами по случаю ранней остановки навигации, не то

случился сбой в работе порта, но только водку на сезон не завезли. В результате усть-куломцы не истратили своих денег, и белоборцы остались без зарплаты. Зубчатое колесо товарно-денежного оборота замерло. Пустили яд слухи. Народ лупил кулаками по стенке кассы. Бледный банкир спецрейсом вылетел в Сыктывкар за деньгами, ибо в ответ на отчаянные радиотелефонограммы было много советов, но совсем не было денег. Он вымолил все-таки денег, которых хватило на треть желающих, но за настырность и неумение выкрутиться получил выговор.

Когда обстановка накалилась до угрожающего предела, министерство нажало на рычаги: из Красноярска пришел «Ил-18» с водкой, которую «Ли-2» доставил до мест. Прошедшая неделя стоила Литвиненко сердечного приступа, нескольких седых волос и партийного выговора. В справедливости выговора он, не приученный сомневаться, не сомневался, но было ему тошно.

Это о выгодах. Что же касается недостатков, то к ним относились неритмичность работы (верней, ритмичность-то как раз была, но уж больно горестная) и регулярные простои техники. В то время как в двух местах ее не хватало, в третьем она стояла, а не хватало к ней рабочих рук; и так – по кругу. Поначалу Литвиненко пробовал самолично ходить утром по домам, дубасил в двери и окна, чуть не на себе доволакивал людей до рабочего поезда: пока два часа будут ехать до лесных кварталов – протрезвеют, – но тут же

одному вальщику отчекрыжило «Дружбой» ногу, сучкоруб шмякнул топором себе по голени, кого-то хлопнуло верхушкой упавшего дерева, мотовоз четырежды за день забурился с рельс в насыпь, шесть платформ-«половинок» с хлыстами вывалились под откос... (К осени такие хлысты, уже высохшие, пилят на чурки и везут домой на дрова: чем пригонять кран и доставать их, раскатившиеся, останавливая на полдня вывоз леса по магистрали, – проще свалить и погрузить новые.) Партбюро строго указало Литвиненко на нарушение техники безопасности и возросший травматизм, хотя нет у нас леспромхоза, где не ковыляло бы несколько инвалидов, по пьяному делу вступивших некогда в соприкосновение с бензо-, или хуже того, электропилой.

И вот Литвиненко придумал гениальный способ, как минусы превратить в плюсы, чтобы недостатки стали достоинствами.

Сообщались между собой три поселка отвратительно. То есть дороги как таковые имелись: по зимнику преодолевались часа за полтора, а в теплое время – уж как бог положит и кривая вывезет. Газик на двух ведущих мостах плыл, как яхта в шторм, а «Урал» жрал горючего столько, что в обрез хватало мотовозам. Но если Машкова Поляна ютилась на отшибе, то Белоборск был расположен иначе: хоть и далеко, и за речушкой, зато если мерить от него напрямик к основной усть-куломской железной дороге – «магистрали», – то по карте выходило всего восемь километров, и как раз до

разъезда «39-й км». А лес сейчас брался в кварталах именно от разъезда и до шестидесятого километра. Итак: если б возить белоборцев напрямиком через непролазную тайгу в усть-куломские кварталы, они тратили бы на дорогу времени меньше даже, чем сами усть-куломцы: час вместо двух. (А то в половине седьмого утра скрипеть по снегу в ледящей мгле на рабочий поезд, и в половине седьмого вечера во тьме же возвращаться домой – это для привыкших нормально, а редких приезжих бросает в оторопь:

– Зачем вы здесь живете-то? С такой работой, – в лесу, по грудь в снегу?

– А чего? Ничо. Надбавки. Пенсия максимальная. В вагончиках мужик приставлен, печки нажарит: тепло!.. Едем, в карты играем, разговариваем.)

Время стояло летнее, до конца года далеко: подбивать бабки выполнению плана нескоро... И Литвиненко вышел на связь с райкомом:

– Я решил сманеврировать средствами, – доложил четко.

– Это как? – настороженно осведомились сквозь треск помех.

– И людскими ресурсами!

– Какими?

– Мы можем в год перемонтировать четырнадцать километров «усов», так?

Усы – это боковые ветки, идущие от магистрали по кварталам. Когда квартал выработан, рельсы снимают и кладут

в новое место, – кругляк под шпалы, конечно, бросают, там нарезают новый.

– Ну, – изрекло начальство после раздумья.

– Ветку в Белоборск! – полыхнул гордостью Литвиненко. – Вozить народ туда-сюда, на случай простоев, и вообще... Экономия оплачиваемого времени на дорогу – раз; экономия топлива – два; повышение коэффициента использования техники – три; благоустройство сообщения – четыре.

В райкоме посовещались, поразмышляли, обсудили вопрос.

– А за сколько построишь?

– Брошу две бригады дорожников, выделю технику – за три месяца управимся. На это время леса в теперешних выработках хватит.

– Молодец, Литвиненко! – грянул голос. – Вот видишь – всегда есть внутренние резервы, если поискать!

Идея была санкционирована и обрела очертания приказа. Литвиненко загорелся. Переходящее знамя мерещилось ему, оркестровый туш, первое место в соцсоревновании, повышение, орден, перевод в Москву... мало ли чего может померещиться в тайге похмельному человеку, особенно если на него давит начальство.

На планерке он довел до руководящего звена леспромхоза свой план. Гениальность плана подчиненные не разглядели – как и полагается подчиненным, когда начальник namного

умнее. Литвиненко ощутил себя Наполеоном, вынужденным выигрывать Аустерлиц со сплошными бездарностями. «Будущее мне воздаст», – подумал он, и в этом, наверное, был прав.

– Шталь на такой план не пошел, – проямлил начальник сплавного пункта.

Литвиненко стало неприятно, что подобный план кому-то уже приходил в голову.

– Не видел твой Шталь дальше своего носа! – гаркнул он. Ему поддакнул бригадир дорожников Прокопенюк. Хитрый Прокопенюк отлично понял, к чему клонится дело.

– Короче – план одобрен и согласован, – известил Литвиненко. – Учетчикам вальщиков – доложить объем невыбранного леса по кварталам!

Леса определенно должно было хватить.

– Так. Объект ударный, поставим лучшую бригаду. Материальное обеспечение – в первую очередь ей. Какие поступят предложения?

Прокопенюк поймал его взгляд и слегка кивнул, как чему-то само собой разумеющемуся:

– Мои хлопцы не подведут.

– Отлично! – громыхнул Литвиненко. Развернул карту, полководческим жестом бросил на нее циркуль и линейку:

– За сколько справишься?

– Так если мне еще молдаван дадите, которые у нас по договору... – начал торг бригадир. (Молдаване работали здесь

за лес, который в оплату их работы поставлялся в родной молдавский колхоз, где по части леса росли преимущественно заборы и виноград.)

Литвиненко в сопровождении Прокопенюка и главного инженера сел в прицепленный к мотовозу вагончик (ездить в кабине, как все делали, он полагал не по чину) и отбыл на рекогносцировку.

– Еле тянется, – цедил, супя мохнатые брови.

– Иначе забурится, – ласково пел Прокопенюк.

– Узкоколейка, чего с нее взять, – кашлял инженер.

Припилили за полтора часа. Литвиненко поместил на ладонь компас, командирским движением задал направление. Углубились в лес. Прокопенюк взятым у машиниста топором делал затески – метил трассу.

– Вот в таком духе, – сказал Литвиненко, отмахиваясь от зудящей тучи комарья и застревая в буреломе. – А это что?..

Лишь сейчас заметил он, что они стоят как бы на заброшенной, заросшей наглухо тропе, угадывающейся узким проемом в уходящих вдаль вершинах. На стволах желтели давние, заплывшие смолой и натеками коры, затесы.

– А это здесь лет пятнадцать, говорят, назад, геодезисты из Москвы трассу метили. – Инженер зло приклепнул овода.

– Зачем?

– А в Белоборск же.

Литвиненко посопел.

– И что ж? Бросили?

– А денег не было, – объяснил Прокопенюк.

– Денег, – хмыкнул Литвиненко. – Надо понимать, когда жалеть, а когда тратить!

– Вот это точно, – согласился Прокопенюк.

Уложив в голову старую геотрассу как козырь в поддержку своего плана, Литвиненко счел рекогносцировку законченной:

– Поехали! Прикинем смету...

Смету прикидывали сутки, взяв за жабры плановиков и бухгалтерию. Те только побряхтывали.

– И мотовоз с платформой в личное мое распоряжение, – загибал пальцы Прокопенюк.

Диспетчер встал на дыбы, но был осажен.

– И чокеровщик.

– Получишь.

– В вальщики Сысоева мне дашь, – незаметно он перешел с начальством на ты. Литвиненко поморщился, смолчал, – не время портить отношения, пусть заведется на работу.

– Аккорд – сорок процентов, и пусковые.

– Само собой.

– Пусковых – двадцать процентов. И премию. – На глазах всего народа Прокопенюк сосал кровь из начальства.

– Сделаешь в срок – будет премия.

– В размере квартальной, – вконец обнаглел Прокопенюк. – За ударный труд на особо важном объекте.

Бухгалтер вытер плешь концом старого шелкового галсту-

ка. Потом им же протер очки.

– А не треснешь? – любопытствовал он.

– Не тресну, – заверил Прокопенюк. – Лишь бы ты не треснул. И бригаду разборщиков – под мое начало. И лапы им сварить новые, не из тех ломов, что гнутся, а закаленных, сам отберу.

Начальник мастерских пожал плечами.

– Все? – спросил Литвиненко. – Но смотри: чтоб завтра в девять приступили!

– Есть! – молодежато подыграл Прокопенюк. И отправился по домам – переговорить с машинистом, помощником, вальщиком и трактористом. Организовать дело он умел, этого у него не отнимешь.

И – работа закипела! Именно так и подумал назавтра Литвиненко: «Работа закипела!» – лично глядя, как рушатся сосны и кедры, как сверкают топоры сучкорубов, с ревом ворочается, оттаскивая стволы, трелевщик, с визгом врезается в них бензопила, разделяя на двухметровые свежие кругляши, лежащиеся в линию шпал будущей дороги.

В Белоборске заняли позицию выжидательную. Горячие умы прикидывали новый маршрут до усть-куломского магазина. Дебатировался вопрос о разделе заработков. Сомневались насчет постройки моста: пусть речушка левая, вброд переходили, однако – инженерия!..

Каждый вечер в половине седьмого Прокопенюк являлся к директору докладывать о ходе работ. Половицы победно

скрипели под его кирзачами, брезентовая куртка вкусно пахла скипидаром и хвоей, взгляд из-под кепочки являл достоинство. Ребятки выказывали рвение, крутая пахота не сгибалась: дорога рвалась вперед полным ходом.

К первому июля он доложил:

– Два километра девятьсот – как одна копейка!

– Спасибо за работу! – ответил Литвиненко и стиснул ему руку.

Первое августа:

– Есть пять семьсот!

– Спасибо за работу!..

– Спасибо в стакан не нальешь, – хмуровато сказал Прокопенюк.

Зашедший за подписями бухгалтер в негодовании потряс кулачками. Жора, молодой бригадир молдаван, одобрительно хрюкнул.

– Тебе что – мало? – угрожающе протянул Литвиненко. – Твои бездельники в этом месяце по...

– ...шестьсот двадцать, – услужливо подсказал бухгалтер.

– А вламывали как?

Усть-Кулом постепенно разделился на два лагеря: команда Прокопенюка – и все остальные. Прокопенюковцы получали шестьсот-семьсот на круг. Им продавали в неделю по две банки тушенки и сгущенки, хотя полагались они всем работающим в лесу, а также индийский чай, который на прилавках не выставлялся и шел как бы через спецраспреде-

ние. В день получки по личному распоряжению директора им отпустили в специальной кладовке орсовского склада по бутылке коньяка, который в магазине отродясь не стоял: исключительно водка и красное.

Обделенный же лагерь нарек эту рабочую гвардию рабочей аристократией и в свою очередь расслоился на две неравные части: первая, составлявшая подавляющее большинство, завидовала завистью обычной, то есть черной, и ратовала привести прокопенюковцев к общему знаменателю и даже репрессировать за рвачество; вторая же, меньшая часть завидовала завистью белой, то есть строила козни, как бы самим проникнуть в привилегированный круг, и при этом условии была согласна примириться с создавшимся положением. Продавщицы вели с Прокопенюком взаимовыгодные переговоры об устройстве своих мужей. Смазчик Пронькин, известный алкаш, после аванса гонялся за Прокопенюком с цепью от пилы, требуя восстановить равноправие.

А из райкома регулярно запрашивали с доброжелательной требовательностью:

- Как осваивается фронт работ?
- Согласно графика! – кричал Литвиненко, прижав для лучшей слышимости руку рупором к трубке. – С превышением нормативов!
- Ты подсчитал, на сколько процентов повысится использование техники?
- На одиннадцать и семь десятых! – бухал он без боязни:

контора подгонит нужный результат.

– Так это же прекрасно! – ликовала трубка. – А производительность труда?

– Экономисты мои обсчитывают, – врал Литвиненко.

– Прикидочную цифру можешь назвать? Нам надо включить в отчет.

– Шесть процентов, – придумала экономистка правдоподобную цифру.

– Семь с половиной процентов, – передал Литвиненко.

– Молодец, Литвиненко!

В кабинете между портретом и сейфом Литвиненко повесил крупномасштабную карту района и каждый вечер скрупулезно отмечал красным карандашом пройденный отрезок на идеальной прямой, соединявшей 39-й километр с Белоборском.

К сентябрю красная стрела подползла к голубой ниточке реки, что соответствовало на местности расстоянию в семь километров семьсот метров. (Конечно – гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить; могло оказаться там и больше восьми километров, кто в тайге эти километры мерил; могли и в сторону метров на пятьсот уйти – и это не смертельно, там скруглим, дело обычное, не транссибирскую магистраль строим, рабочую узкоколейку.)

Он весело хлопнул Прокопенюка по литому круглому плечу:

– Ну как, бисова душа, реку-то уже видно?

– Куда ж она денется, – ровно ответил Прокопенюк. – Мы свое сделаем, не подведем.

– Завтра вас навещу!

– Милости просим...

Плавнo отвeтвляясь от насыпи, железнодорожная колея с радующей глаз прямизной рассекала тайгу. Посверкивающие рельсы были намертво пришиты к оранжевым круглякам шпал, еще не успевших потускнеть. В конце пути безостановочно продолжалась отрадная деятельность: деревья валились, трелевщик урчал, топоры тюкали, вперестук гнали эхо молоты костыльщиков, с одного маха вгоняющих четырехгранные костыли в податливую сосновую древесину.

– Прокопенюк свои груши отрабатывает, – с мрачноватой горделивостью предъявил картину Прокопенюк.

– Сколько уже сделали?

– Семь километров и восемьсот двадцать метров. Сегодня уже девятнадцать звён уложили, это сто четырнадцать метров. (Он не врал: столько показал и спидометр мотовоза.)

– Так... – молвил Литвиненко, сурово вглядываясь в перспективу. – К реке вышли?

– Все по плану, – пожал плечами Прокопенюк.

– Так вышли?

– Да куда ж она денется.

– Вышли или нет?! Сколько осталось?

– Ну, может, самая ерунда осталась...

– Сколько?!

– Да что я, речник, – грубовато сказал Прокопенюк.

Литвиненко достал компас, линейку, циркуль, расстелил на траве карту. Проверил.

– Должны уже выйти, – скрывая растерянность, произнес он.

– Должны – значит, выйдем, – успокоил Прокопенюк.

– Все будет в ажуре, – заверил богатырь Жора, бригадир молдаван, скаля белейшие зубы с зажатой в них беломориной.

– А ну пошли посмотрим, – решил Литвиненко.

– Рабочий день кончился, – сказал Прокопенюк. – И так уж задержались, вон темнеет уже.

– Ничего!

Но в чаще темнело быстро, люди за спиной недовольно медлили, Литвиненко как-то сразу устал, выдохся, и машинист все время подавал гудки, нервировал (торопился домой, к хозяйству); действительно, подумал Литвиненко, а вдруг тут не пятьдесят метров, а пятьсот, на ночь глядя лезть в лес и правда без толку, и промерить расстояние точно надо будет.

– Но завтра – обязательно!

– Само собой.

Но назавтра его срочно вызвали на совещание в район, по срывам подготовки к итогам третьего квартала и окончанию сплавного сезона, вернулся он только через два дня, сплавщики как обычно не справлялись, и весь день он проторчал

на сплаве, а потом был день получки, потом суббота, так и затянулось.

Из райкома теребили:

– Сообщите процент выполнения плана по железнодорожному строительству!

– Сто двадцать два процента! – орал Литвиненко.

– Сколько погонных километров?

– Семь девятьсот!

– К реке вышли?

– Так точно!

– А мост?

– Мостовая бригада сформирована. Инженер произвел расчеты. Поставим в кратчайшие сроки!

– Не подкачай! – вибрировала мембрана в трубке.

В среду Прокопенюк вернулся из лесу в час дня. Шагая весомо и мерно, с непроницаемым лицом, он стукнул в директорский кабинет, сел, снял кепку и пробасил:

– Ну вот, значит. Я свое слово сдержал.

– Готово?! – радостно вскинулся Литвиненко. Обнял, стиснул: – Молодец, бисова твоя душа! Ну, поехали – покажешь!

Вагончика под рукой не было, встали по-простому в кабину.

– До берега дошли?

– Все как обещали, – повторил Прокопенюк.

Точно на стрелке Литвиненко списал для верности цифры

со спидометра. Напряженно вглядывался в размытую расстоянием табачно-зеленую даль, куда летело синее двойное лезвие рельсов. Прокопенюк молча курил, сев на корточки в углу под окошечком.

Через пятнадцать минут Литвиненко начал бледнеть. Но он молчал, надеясь убедиться, что видимое ему только кажется, что на самом деле все так, как должно быть.

– Приехали, – сказал машинист, Егор Карманов, сдвигая ручку газа и глуша дизель.

Литвиненко стоял каменно, как памятник самому себе. У рта Прокопенюка струйка дыма застыла в воздухе, прекратив свое движение. Было слышно, как высморкался рабочий, сидевший на последнем звене уложенных рельсов.

Дорога упиралась в тайгу.

– Ты что – охренел? – заревел Литвиненко, хватая Прокопенюка за шиворот и пытаясь приподнять и по трясти. Прокопенюк не сдвигался, словно из чугуна его отлили.

– Восемь километров как одна копеечка, – чугунным голосом прогудел он.

Литвиненко оторопело сверил запись со спидометром.

– Восемь ровно, – подтвердил Егор, улыбаясь доброй улыбкой человека, не причастного ни к чему плохому.

Литвиненко спрыгнул на спиленный заподлицо пень. Работяги встали. Выражение его лица было таково, что побросали окурки и даже как бы подтянулись по стойке смирно, – слегка оробели.

– Су-у-у-ки!! – завопил Литвиненко. – Га-а-ды!! Вы куда же дорогу построили, падлы?!

– Так это... мы что... – пробормотал Жора. – Куда было указано. А мы работали на совесть, смотрите сами...

– Дорога хорошая...

– Отрихтовали до сантиметра, хоть у машиниста спросите...

– Ни одного костыля не пропустили, проверьте сами.

– Шпалы все, как по линейке... подбирали даже специально...

Литвиненко, одурев от абсурдности ситуации, в отчаянии и ярости топал ногами:

– Линеечки!! в глотку тебе линейку!! чтоб голова не болталась!!! Белоборск где?!

– А где ж ему быть, – рассудительно отозвался из кабины Прокопенюк. – Стоит себе, где стоял.

– А мы где?! – надсаживался Литвиненко, топая, как бы показывая этим топом место, где они находятся.

– А это дело не мое, – здраво отрекся Прокопенюк. – Линию вы проложили сами, дистанцию задали сами, мы выполнили. Проверяйте сами.

– Проверю, – скрежетнул Литвиненко, – я тебя так проверю, что мама родная не узнает, тебя еще так проверят – жить будешь, а бабу не захочешь, вредитель.

– А вы мне ярлыки не вешайте, – с достоинством сказал Прокопенюк. – Я вам не зека, и жаргончик бросьте. Вон

у меня бригада свидетелей. Давайте – вызываем комиссию! Пусть проверяют. Еще поглядим, кого из нас и где проверят... проверяльщик.

Багряный туман пал на Литвиненко, и телеграфным звоном зазвенела в нем невидимая струна... Очнулся он от ощущения холодной воды на лице. Он лежал на брезенте, над ним хлопотали.

– Ничего, – нежно сказал Жора. – Ничего, вы не волнуйтесь. Мы в крайнем случае дальше ее протянем.

Литвиненко встал (его поддержали), схватил компас и с треском, как кабан, вломился в заросли. За ним последовали гуськом.

– Егор, ты в кабине останься, – велел машинисту предусмотрительный Прокопенюк. – Каждые пять минут подавай гудок. А то – тайга, как природный коми сам понимаешь.

Через полчаса Литвиненко взялся за сердце, размазал с потом комаров и опустился на сырой мох. Гудок глухо доносился издали.

– Лезь на сосну! – ткнул пальцем в Жору. – Не на эту! вот на ту лезь, она выше и на отшибе стоит.

– То кедр, – сказал Прокопенюк.

– Я не умею, – конфузливо сказал Жора. – У нас лесов нет... откуда научиться...

Полез рябой парнишка: снял солдатский ремень, охлестнул вокруг ствола и двинулся, упираясь ребрами сапог.

– Дальше лезть? – прокричал он с вершины, полускрытый

ветвями. – Тонко уже здесь!

– Реку видишь?

– Нет!

– Лезь!!

Нет, не было реки.

Выбрались обратно. Литвиненко молча влез в кабину, цыкнул:

– Домой – жив-ва!

Мерил карту, тупо смотрел на пляшущую стрелочку армейского компаса: недоумевал.

– Может, карта неверная? – предположил добрый Егор Карманов. – Или компас барахлит? У нас был вот в армии случай...

– Да заткнись ты со своими случаями!.. Дуй давай.

У конторы впрыгнул в свой газик и зловеще приказал:

– В Белоборск! И только встань по дороге – в лесу сгною, завтра же сучки рубить отправишься.

Шофер Сашка Манукян, отбывающий здесь ссылку после срока, униженно ответил: «Слушаюсь, гражданин начальник», и в особо зловредных промоинах даже подстанывал от усердия в тон воющему мотору.

Белоборск, как и предсказывал справедливо Прокопенюк, стоял на месте. Неожидающее появление директора вызвало удивление.

Встали на бережке. Разложив злополучную карту на капоте, Литвиненко упорно пытался понять, где ошибка. Ника-

кой ошибки не было: все сходилось, все было указано правильно – и длина дороги, и направление... вот здесь, в каких-то двадцати метрах, за медленной темной водой, должны сейчас лежать рельсы. А не лежат.

– А ну давай на тот берег.

– Почти по пояс, зальет, что вы...

– Пошли со мной!

– Да вон здесь брод удобный, полста шагов.

Разделись до пояса (снизу, естественно), и, мощно воро-чая задом, Литвиненко взбурлил воду.

Выбравшись на осклизлый берег, затрубил:

– Э-ге-гей! Прокопеню-у-ук!

Эхо отозвалось какое-то матерное. Никаких иных звуков не воспоследовало.

– Пошли!

– Куда?

– К дороге.

– Так она где ж?

– Там.

– Так а если в стороне?

– Идем на тридцать девятый километр.

– Я не пойду, – тихо сказал Сашка.

– Почему еще не пойдешь?

– Заблудимся...

Литвиненко поозирался, подумал хоть в ухо ему дать... и повернул назад. На середине передумал:

– Садись в машину и через каждые две минуты – сигнал! Через час не вернусь – привезешь народ на поиски.

Через час вернулся – без успеха, злой, – и закручинился...

Самый-то кошмар начался назавтра. Ударная бригада объекта особого назначения в полном составе сидела на бревнах под окнами кабинета, деликатно куря.

– Ну, значит, это... – встал Прокопенюк.

– Почему не на работе?!

– На какой такой работе? У нас аккордный наряд на восемь километров. Сделали. За четыре дня до срока.

Литвиненко сдержал гнев:

– Ты мне дурака не валяй. В лес сейчас же все.

– В лес – это можно, – согласился Прокопенюк. – Всю жизнь в лесу. За этим дело не станет. Но сначала это... объект официально принять надо.

– Да что ж у тебя принимать?!

– Дорога железная узкоколейная восемь километров рельсы ТИП-22 на круглых шпалах без подъемных работ по просеке, – научнообразно вывалил Прокопенюк.

– Приму, когда дойдете до Белоборска.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.